



*Вероника
Мушнова*

НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Вероника Тушнова
Не отрекаются любя. Полное
собрание стихотворений
Серия «Поэзия»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66485650

*Не отрекаются любя. Полное собрание стихотворений: Эксмо; Москва;
2021*

ISBN 978-5-04-159320-9

Аннотация

Вероника Тушнова (1915–1965) – участница Великой Отечественной войны, поэтесса, создавшая известные всем и любимые многими стихотворения: «Не отрекаются любя», «А знаешь, все еще будет!» и многие другие.

Поэзия Вероники Тушновой проникнута добром и теплотой, искренностью, неподдельностью чувств, благодарной любовью ко всему, что даровано судьбой. Ее поэзия мудра, светла и чиста, и это навсегда покорило читателей и слушателей песен, написанных на стихи поэта. В книге представлена наиболее полная подборка стихотворений, поэм, включены переводы и много редких фотографий Вероники Тушновой.

Содержание

Стихотворения	9
Из цикла «Стихи о дочери»	9
I	9
II	10
III	11
IV	12
V	13
VI	14
VII	15
Хирург	16
Мать	18
Музыка	19
Кукла	21
«Я знаю – я клялась тогда...»	23
«Мы ждали ее в понедельник, и в среду...»	25
Такая же, как она	27
Салют	29
Встреча	31
Фиалки	34
Письмо	36
В Кудинове	38
Ночная тревога	40
Птица	42

Городок	43
Беженец	44
Возвращение	46
В лесу	49
Утро	50
Разговор с Москвой	52
Дорога	54
Письмо	55
Октябрь 1941 года	56
Ночь	59
Яблоки	62
«Ты ложишься непривычно рано...»	64
Стихи о доме	66
Домой	68
«Вот и город. Первая застава...»	70
«Помню празднество ветра и солнца...»	71
«У каждого есть в жизни хоть одно...»	72
«Нельзя о слове, как о мотыльке!...»	74
«Когда-то я любимого ждала...»	75
«Нет, и это на правду совсем не похоже...»	76
«Словно засыпающий ребенок...»	77
Разлука	79
I	79
II	79
«Спокойный вечер пасмурен и мглист...»	81
«Настойчивой стайки воспоминаний...»	82

«Ты мне чужой – не друг и не любимый...»	84
«Резкие гудки автомобиля...»	85
Ночь	86
«Да, ты мой сон. Ты выдумка моя...»	87
«И знаю все, и ничего не знаю...»	88
Чиж	89
Осень	91
Костер	93
Тропинка	95
«Песня моя, куда ты ушла...»	96
«Еще шуршат, звенят и шепчут капли...»	98
«Насыпает камешки в ведерки...»	99
«Уходит день, в углах синее тени...»	100
«В оцепененье стоя у порога...»	101
Прибой	103
Мать	104
Капитаны	107
Жена прораба	110
Аннушка приехала домой	113
Стихи о любви	115
Пути-дороги	117
Родина	119
На разъезде Чумыше	122
Разлука	124
Станция Баладжары	127
Сапер	129

Прощанье	131
Другу	133
Дагестанская ночь	134
Осень в Латвии	136
На море	138
Мы праздник встречали в дороге	139
Норд	141
Моряна	143
Путь к руде	145
Из окна вагона	147
Бессонница	149
Письма	150
Арык	152
Тишина	154
«Мне сказали – ты в городе Энске живешь...»	156
Ожидание	158
«Биенье сердца моего...»	160
Ссора	161
Прощанье	163
Осень	165
«Не отрекаются любя...»	166
«Мы шли пустынной улицей вдвоем...»	167
У источника	169
Зеркало	170
«Дремлет стужа, сок из веток выжав...»	171
Счастье	172

Опоздали на дачный	173
Ночь	176
«А ведь могло бы случиться так...»	179
«Пусть мне оправдываться нечем...»	181
Дом в лесу	183
Твоя улица	185
Непогода	188
Молния	191
Воспоминание	192
«Открываю томик одинокий...»	194
«К земле разрыхленной припал он...»	195
«Молодость... Старость...»	197
Десятибалльный шторм на море	199
Конец ознакомительного фрагмента.	201

Вероника Тушнова
Не отрекаются любя.
Полное собрание
стихотворений

© Тушнова В.М., наследник, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Стихотворения

Из цикла «Стихи о дочери»

Наташе

I

Душная, безлунная
наступила ночь.
Все о сыне думала,
а сказали: «Дочь».

Хорошо мечтается
в белизне палат...
Голубые лампочки
у дверей горят.

Ветер стукнул форточкой,
кисею струя.
Здравствуй, милый сверточек,
доченька моя!

Все такое синее,

на столе – цветы.
Думала о сыне я,
а родилась – ты.

Ты прости, непрошенный
ежик сонный мой.
Я тебя, хорошую,
отвезу домой.
Для тебя на коврике
вышита коза,
у тебя, наверное,
синие глаза...

Ну... а если серые –
маме все равно.

...

Утро твое первое
смотрится в окно.

II

Мне с каждым днем милее ты:
все тверже взгляд, все звонче лепет.
Как будто новые черты
рука невидимая лепит.

Ночник... И тени на стене...

Мне часто по ночам не спится,
вот шевельнулись в полусне
твои спокойные ресницы.

Ты просыпаешься. И где б
я ни была, зовешь в испуге.
И пух волос твоих нелеп,
как у нахохленной пичуги.

И так похожи на цветы
румянец щек, и мягкость лапок,
и пухлость губ, и милый запах
ребячьей сонной теплоты.

III

Ты счета не ведешь годам,
встречая только третье лето.
Твоих мгновений череда
туманом солнечным одета.

Уколы маленьких обид
тебя еще не могут ранить,
и огорчений не хранит
твоя ребяческая память.

И, милой резвости полна, –

как знать ребенку тяжесть ноши?
ты слово новое – «война» –
лепечешь, хлопая в ладоши.

IV

Вагон бросало и качало.
Молчали все. А вечер гас.
И каждый знал: еще начало,
еще неясный первый час.

Казалось мне: за далью алой
гремят грядущие бои...
Но как бессильно я сжимала
ручонки пыльные твои!

А после ночь. Без искры света
свершался необычный путь.
Скажи, ответь – ты помнишь это?
И если помнишь – позабудь.

Живи, цветам и песням рада,
смеясь, горюя и любя,
а помнить этого не надо:
я буду помнить за тебя.

V

Тревога. Грусть. Приходит почтальон –
ни весточки о милом человеке...

А городок метелью занесен
до самых крыш. И, кажется, навеки.

Наш новый дом в сугробах под горой,
к нему бежит петлистая дорожка,
в нем есть окно за ледяной корой,
печурка есть, горячая картошка.

Есть девочка. Зеленые глаза,
лукавый рот и бантик цвета мака.
Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
при ней нельзя о горьком рассказать.

Она поймет. С недетской теплотой
ладошки мягкие ко мне на плечи лягут...
Нельзя при ней, при маленькой такой, –
ей рано знать печаль житейских тягот.

Я напишу ей буквы на листе,
я нарисую зайчика в тетради.
И засмеюсь – ее улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте...

VI

Суровый год. В траве чернеют щели,
но дни июня ветрено свежи.
Опять шумят разлапистые ели,
и чертят небо легкие стрижи.

Орлы сидят за ржавою решеткой,
полуприкрыв окаменелый взгляд.
Кричит павлин, барсук ютится кроткий
среди смешных мохнатых медвежат.

Иду с тобой по парку не спеша я,
над нами листьев солнечная дрожь...
Когда-нибудь ты вырастешь большая
и эти строки снова перечтешь.

Как взмах крыла, как искра в синем дыме,
они опять пересекут твой путь.
Они тебе покажутся простыми,
далекими, наивными чуть-чуть.

И все-таки ты радостно и мило
лукавый свой на миг потупишь взгляд, —
совсем как та, которая ходила
по воскресеньям с мамой в зоосад.

VII

А круг все ширится. В него вовлечены
природа, люди, города и войны.
Теперь ей книжки пестрые нужны,
упав, она не говорит, что больно.

Не любит слово скучное «нельзя»,
все льнет ко мне, работать мне мешая.
Как выросла! Совсем, совсем большая, —
мы с ней теперь хорошие друзья.

Она со мною слушает салюты,
передвигает красные флажки
и, Прут найдя на карте в полминуты,
обводит пальцем ниточку реки.

Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: «Мама,
а было так, что не было войны?»

Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
еще успеешь в жизни позабыть.

Хирург

Н.Л. Чистякову

Порой он был ворчливым оттого,
что полшага до старости осталось.
Что, верно, часто мучила его
нелегкая военная усталость.

Но молодой и беспокойный жар
его хранил от мыслей одиноких –
он столько жизней бережно держал
в своих ладонях, умных и широких.

И не один, на белый стол ложась,
когда терпеть и покоряться надо,
узнал почти божественную власть
спокойных рук и греющего взгляда.

Вдыхал эфир, слабел и, наконец,
спеша в лицо неясное взглядеться,
припоминал, что, кажется, отец
смотрел вот так когда-то в раннем детстве.

А тот и в самом деле был отцом
и не однажды с жадностью бессонной
искал и ждал похожего лицом

в молочном свете операционной.

Своей тоски ничем не выдал он,
никто не знает, как случилось это, –
в какое утро был он извещен
о смерти сына под Одессой где-то...

Не в то ли утро, с ветром и пургой,
когда, немного бледный и усталый,
он паренька с раздробленной ногой
сынком назвал, совсем не по уставу.

Мать

Она совсем немного опоздала,
спеша с вокзала с пестрым узелком...
Еще в распахнутые окна зала
виднелось знамя с золотым древком,
еще на лестнице лежала хвоя,
и звук литавр, казалось, не погас...

Она прошла с дрожащей головою,
в глухом платке, надвинутом до глаз.
Она прошла походкою незрячей,
водя по стенам сморщенной рукой.
И было страшно, что она не плачет,
что взгляд такой горячий и сухой.

Еще при входе где-то, у калитки,
узнала, верно, обо всем она.
Ей отдали нехитрые пожитки
и славные сыновьи ордена.

Потом старуха поднялась в палату, –
мне до сих пор слышны ее шаги, –
и молчаливо раздала солдатам
домашние ржаные пироги.

Музыка

С утра в конторе шелкала на счетах,
в очках, платком замотана до глаз.
И было в ней от хмурой птицы что-то,
и что-то в ней отпугивало нас.

Мы очень мало знали друг о друге.
Откуда в лазарете эта тень?
Тревожной сводкой начинался день,
росли морозы, подступали вьюги.

Бывало, что усталость верх брала
и согреться становилось нечем.
Но я ведь не об этом начала,
я начала о женщине...

Тот вечер
был тише и угрюмее других.
Почти стемнело. В коридоре где-то
стеклянный звук разбился и затих.
И показался на мгновенье светом.

Рояль отвык. В углу закоченев,
он весь скрипел и охал от натуги,
но беспощадно старческие руки
будили в нем отчаянье и гнев.

И словно хрустнул, расколовшись, лед,
и мраку нет на свете больше места –
один порыв, один прямой полет,
все на пути сжигающее presto.

В очках, платком замотана до глаз,
как будто бы с охрипшей выюгой споря,
она до ночи согревала нас
в продрогшем лазаретном коридоре.

...И, робко взяв пьянистку за плечо,
не отводя от белых клавиш взгляда,
старик казах проговорил: «Еще».
Потом подумал и прибавил: «Надо».

Кукла

Много нынче в памяти потухло,
а живет безделица, пустяк:
девочкой потерянная кукла
на железных скрещенных путях.

Над платформой пар от паровозов
низко плыл, в равнину уходя...
Теплый дождь шушукался в березах,
но никто не замечал дождя.

Эшелоны шли тогда к востоку,
молча шли, без света и воды,
полные внезапной и жестокой,
горькой человеческой беды.

Девочка кричала и просила
и рвалась из материнских рук, —
показалась ей такой красивой
и желанной эта кукла вдруг.

Но никто не подал ей игрушки,
и толпа, к посадке торопясь,
куклу затоптала у теплушки
в жидкую струящуюся грязь.

Маленькая смерти не поверит,
и разлуки не поймет она...
Так хоть этой крохотной потерей
дотянулась до нее война.

Некуда от странной мысли деться:
это не игрушка, не пустяк, –
это, может быть, обломок детства
на железных скрещенных путях.

«Я знаю – я клялась тогда...»

Я знаю – я клялась тогда,
что буду до конца верна,
как ни тянулись бы года,
как долго бы ни шла война.

Что все – с тобою пополам,
что ты один мне только люб,
что я другому не отдам
ни жарких слов, ни верных губ.

С повязкой влажной и тугой
в жару метался тот, другой.
И я, дежурная сестра,
над ним сидела до утра...

Он руку женскую к груди
тоскливо прижимал в бреду
и все просил: «Не уходи».
И я сказала: «Не уйду».

А после, на пороге дня,
губами холоднее льда,
спросил он: «Любишь ли меня?»
И я ему сказала: «Да».

Я поклялась тебе тогда, –
но я иначе не могла...
Обоим я сказала «да»
и никому не солгала.

«Мы ждали ее в понедельник, и в среду...»

Мы ждали ее в понедельник, и в среду,
и утром, и в полдень, и после обеда.
Мы ждали до вечера, дотемна,
мы в окна смотрели – опять не она.

На улице ветер пахучий, крылатый...
Пушок тополиный влетает в палаты...
Вхожу, а в палате уныло, темно,
на столике блюде окурков полно.
И голос глухой закликает меня:
«Уйдите, сестрица, не надо огня».

А мы-то, а мы-то не спали ночами
и с ложечки чаем поили вначале,
и старый хирург, приходя, его сам,
как мальчика, гладил по волосам...

Мы так добивались веселого взгляда...
А нынче молчит он, и света не надо...
А окна раскрыты, и, пухом пыля,
за окнами плещутся тополя,
и ветер сочится густой темнотой.
...Недоброе сердце у девушки той.

Такая же, как она

Дождь стучит по железу крыши,
и, хотя мы с тобой вдвоем,
говоришь ты как можно тише
о недавнем пути своем.

Об изрытой сырой полянке,
где ты принял неравный бой,
и о том, как в сожженном танке
был спасен боевой судьбой.

Как ты, кожи сдирая клочья,
тяжкий люк приоткрыл потом,
запах гари и холод ночи
опаленным глотая ртом.

Говоришь, а глаза потухли,
будто жизни совсем не рад...
В коридоре шаркают туфли,
костыли в тишине гремят.

И я знаю, я знаю, знаю,
что не рана твоя болит,
что больнее, чем рана злая,
слово горькое – инвалид.

И другое я знаю тоже:
как, ладони прижав ко лбу,
ты над карточкой непохожей
по ночам пытаешь судьбу.

Не пытай, не грусти, не надо!
Верь, подруга тебе верна,
как я встрече была бы рада,
я – такая же, как она.

Как тосклив одинокий вечер,
как дорога моя темна,
как ждала бы я этой встречи,
я – такая же, как она...

Салют

Мы час назад не думали о смерти.
Мы только что узнали: он убит.
В измятом, наспех порванном конверте
на стуле извещение лежит.

Мы плакали. Потом молчали обе.
Хлестало в стекла дождиком косым...
По-взрослому нахмутив круглый лобик,
притих ее четырехлетний сын.

Потом стемнело. И внезапно, круто
ракетами врезаясь в вышину,
волна артиллерийского салюта
тяжелую качнула тишину.

Мне показалось, будет очень трудно
сквозь эту боль и слезы видеть ей
цветенье желтых, красных, изумрудных
над городом ликующих огней.

Но только я хотела синей шторой
закрыть огни и море светлых крыш,
мне женщина промолвила с укором:
«Зачем? Пускай любуется малыш».

И, помолчав, добавила устало,
почти уйдя в густеющую тьму:
«...Мне это все еще дороже стало –
ведь это будто памятник ему».

Встреча

С поля наплывает горечь донника –
запах лета, жаркий и сухой.
На закате охает гармоника
над стеклянно-розовой Окой.

Пыльным въездом проплелись подводы,
разошелся по домам народ,
от конторки, баламутя воду,
отвалил на Горький пароход.

И тогда не тихо и не скоро,
будто встрече будущей не рад,
поднялся, прихрамывая, в гору
с фронта возвратившийся солдат.

Далеко ему еще до дома,
и другой туда, пожалуй, путь,
только очень к девушке знакомой
хочется солдату заглянуть.

Снова к сердцу подступило прошлое,
сжались от обиды кулаки.
Девушка простилась по-хорошему
и не написала ни строки.

Позабыла девушка, наверное,
вечера на отмелях Оки,
поглядеть бы ей в глаза неверные
и уйти, не протянув руки.

Он курчавой тропкою проходит,
за ноги цепляется выюнок...
Бабка свеклу полет в огороде –
окликает: «Заходи, сынок!»

До чего же это все родное,
даже не задетое бедой!
В темных сенцах кадка с ледяною
сладкою колодезной водой.

Зеленеет свет на подоконнике
сквозь густую пыльную листву,
на комодке каменные слоники
выстроены в ряд по старшинству.

Над комодом в рамках и без рамок
полинялых фотографий ряд –
дедовских, отцовских, тех же самых,
что висели тридцать лет назад.

И внезапно щеки побледнели:
не замеченная до сих пор,
девушка в пилотке и шинели
посмотрела со стены в упор.

Фиалки

Был теплый день. Кричали галки.
Мальчишка, ясноглаз и рус,
срывал в березняке фиалки
и клал их в дедовский картуз.
Он так был счастлив, отыскав
семью душистых, мокрых, милых,
с тончайшей сетью темных жилок
на лиловатых лепестках.
Он шел домой.
А на дороге
чужой, с винтовкой на весу,
сказал ему: «Чего ты бродишь?
Чего ты шляешься в лесу?»
Взял за руку. Пошли, свернули.
Но мальчик вырвался из рук,
забыв, что существуют пули,
и, слыша только сердца стук,
нырнул в кустарник, легкий, быстрый.
И раньше, чем беду постиг,
скорее, чем умолкнул выстрел,
на молодой траве затих.
Лежит в кустах застывший, жалкий,
и глаз мертва голубизна...

И вот опять пришла весна.

Опять в лесу цветут фиалки.
Опять теплынь. Но все не так,
все иначе – ясней и краше.
Враг далеко. Все это наше:
и лес, и тропы, и овраг,
и песня робкого щегленка,
и брызги света без числа,
и прошлогодняя воронка,
что лопухами заросла.
Цветы, роса – все наше это.
И с каждым часом горячей
касаясь солнечных лучей.

...

А мальчик не увидит лета.

Письмо

Хмуро встретили меня в палате.
Оплывала на столе свеча.
Человек метался на кровати,
что-то истушенное крича.

Я из стиснутой руки солдата
осторожно вынула сама
неприглядный, серый и помятый
листик деревенского письма.

Там, в письме, рукою неумелой
по-печатному писала мать,
что жива, а хата погорела
и вестей от брата не слышать.

Что немало горя повидали,
что невздам не было конца,
что жену с ребенком расстреляли,
уходя, у самого крыльца.

Побледневший, тихий и суровый
в голубые мартовские дни
он ушел в своей шинели новой,
затянув скрипучие ремни.

В коридоре хрустнул пол дощатый,
дверь внизу захлопнулась, звеня.
Человек, не знающий пощады,
шел вперед, на линию огня.

Шел он, плечи крепкие сутуля,
нес он ношу – ненависть свою.
Только бы его шальная пуля
не задела где-нибудь в бою...

Только не рванулась бы граната,
бомба не провыла на пути,
потому что ненависть солдату
нужно до Берлина донести!

В Кудинове

Небо чисто, зелено и строго.
В закопченном тающем снегу
танками изрытая дорога
медленно свивается в дугу.

Где-то на лиловом горизонте
низкий дом, запорошенный сад...
Ты подумай только: как о фронте,
о деревне этой говорят, –

где в то лето солнечные слитки
падали в смолистый полумрак,
где у сделанной тобой калитки
как-то утром распустился мак.

Где ночами, за белесой пряжей,
ухала унылая сова,
где у маленькой девчурки нашей
складывались первые слова.

Как душе ни трудно и ни тяжело,
все равно забыть я не могу
шелковую мокрую ромашку,
девочку на солнечном лугу.

Как теперь там странно, незнакомо,
каждый куст на прежний не похож,
как, наверное, страшна у дома
пулемета бешеная дрожь.

Как, наверное, угрюм и мрачен,
слыша дальний, все растущий вой,
у калитки старой нашей дачи,
стиснув зубы, ходит часовой.

Ночная тревога

Знакомый, ненавистный визг...
Как он в ночи тягуч и режущ!
И, значит, – снова надо вниз,
в неведенье бомбоубежищ.

И снова поиски ключа,
и дверь с задвижкой тугою,
и снова тельце у плеча,
обмякшее и дорогое.

Как нáзло, лестница крута, –
скользят по сбитым плитам ноги;
и вот навстречу, на пороге –
бормочущая темнота.

Здесь времени потерян счет,
пространство здесь неощутимо,
как будто жизнь, не глядя, мимо
своей дорогою течет.

Горячий мрак, и бормотанье
вполголоса. И только раз
до корня вздрагивает зданье,
и кто-то шепотом: «Не в нас».

И вдруг неясно голубой
квадрат в углу, на месте двери:
«Тревога кончилась. Отбой!»
Мы голосу не сразу верим.

Но лестница выводит в сад,
а сад омыт зеленым светом,
и пахнет резедой и летом,
как до войны, как год назад.

Идут на дно аэростаты,
покачиваясь в синеве.
И шумно ссорятся ребята,
ища осколки по примятой,
белесой утренней траве.

Птица

Бои ушли. Завесой плотной
плывут туманы вслед врагам,
и снега чистые полотна
расстелены по берегам.

И слышно: птица птицу кличет,
тревожа утреннюю стынь.
И бесприютен голос птичий
среди обугленных пустынь.

Он бьется, жалобный и тонкий,
о синеву речного льда,
как будто мать зовет ребенка,
потерянного навсегда.

Кружит он в скованном просторе,
звения немислимой тоской,
как будто человечье горе
осталось плакать над рекой.

Городок

Не прозвучит ни слово, ни гудок
в развалинах, задохшихся от дыма.
Лежит убитый русский городок,
и кажется – ничто непоправимо.

Еще в тревожном зареве закат
и различимы голоса орудий,
а в городок уже приходят люди.
Из горсти пьют, на дне воронки спят.

И снова дым. Но дым уже другой –
теперь он пахнет теплотой и пищей.
И первый сруб, как первый лист тугой,
из черного выходит корневища.

И медленная светлая смола,
как слезы встречи, катится по стенам.
И верят люди: жизнь благословенна,
как бы она сурова ни была!

Беженец

Он из теплушки на траву горячую
по-стариковски спрыгнул тяжело.
В косых лучах столбы вдали маячили,
и все в степи жужжало и цвело.

Внезапная прохлада наплывала,
вода журчала в чаше ивняка,
и эту воду пили у привала
и брали в чайник вместо кипятка.

Старик лежал, глазами безучастными
следя за колыханьем колоска.
Десятками травинок опоясанный,
зеленый мир качался у виска.

Июльский воздух, раскаленный, зримый,
над степью тек. Старик лежал на дне.
Все, не касаясь, проходило мимо.
Он жил все там – в своем последнем дне.

Такое же вот солнце заходящее,
бормочущего сада забытье,
мычанье стада и в кустах блестящее
днестровское тяжелое литье.

От памяти нам никуда не деться,
не выжечь в мыслях прошлого огнем,
но если лучше в прошлое взглядеться,
увидеть можно будущее в нем.

Возвращение

Ветер тучи, свирепея, рвет,
горизонт отяжелел дождем.
Поворот, и снова поворот,
а за сотым поворотом – дом.

Глухо рухнул громовой раскат,
хлынул ливень, белый и прямой.
Но с дороги не свернул солдат –
возвращается солдат домой!

По оврагам кружится плетень.
Хорошо дойти бы до зари!..
В шуме ливня угасает день,
прыгают по лужам пузыри.

Поворот... И снова поворот...
Крыша будто издали видна,
яшень яснолистый у ворот.
Вот она и кончилась – война!

Реже дождь... За лугом вдалеке
зажелтела узкая заря,
заплескались гуси на реке,
на своем наречье говоря.

Вот и мостик – скользкая доска,
вот калитка, вот вошел во двор,
вот ласкает грубая рука
дорогой мальчишеский вихор.

Весь он ветром и травой пропах,
выгоревший на припеке чуб.
Руки на плечах, и на губах
теплота ребячьих мягких губ.

А жена выходит на крыльцо,
за ручонку девочку держа.
Побелело у бойца лицо,
почернела у бойца душа.

«Здравствуй, ненаглядная жена!
Видно, женам весела война!
Как, скажи, без мужа прожила,
как, скажи, дочурку назвала?»

Тихими зарницами светя,
иссякает дальняя гроза.
«Называла девочку не я, –
я отца не видела в глаза!

Может, он в дозор с тобой ходил;
может, он с тобой в землянке жил;
может, он тебе, когда привал,
песни пел и прикурить давал.

Речь твоя обидна и горька,
нет на свете твоего дружка...
Девочка глупа еще, мала, —
нынче все отца домой ждала».

Помолчала... Невеселый взгляд
отвела она от мужа прочь.
И тогда шагнул к жене солдат
и сказал сурово: дай мне дочь!

...

...

Мирное домашнее тепло,
позабывтый за войну уют.
Одиноко стучая в стекло,
капли запоздалые снуют.

И лежат за окнами поля —
тихие, раздольные края.
И вздыхает вольная земля —
мокрая, прогретая, своя!

В лесу

Навстречу сосны. Нет конца им...
День ярче, выше, горячей,
но хвойный кров непроницаем
для ливня солнечных лучей.

Лишь кое-где во мраке вкраплен
как будто золота кусок.
И с веток солнечные капли
сочатся в розовый песок.

В лесу торжественно и тихо...
Но я не слышу тишины, –
еще не умер отзвук дикой,
железной музыки войны.

И с молодой березкой рядом,
ее шуршанием одет,
стоит расщепленный снарядом
сосны обугленный скелет.

Утро

Еще, наверно, в сумраке глухом
луна глядит на город желтым оком,
еще рассвет неопытным штрихом
не обозначил затемненных окон,
а мне не спится. Время истекло,
и, прогоняя образы ночные,
посыпались в дремотное тепло,
как медленные льдинки, позывные.
Мне слышно все за тонкою стеной.
Как «Широка страна моя родная...»
течет по сердцу струйка ледяная:
что сделали с родной моей страной!
О, этот звонкий холод по утрам,
когда темно и день еще не начат!
А надо жить. Как дует в щели рам,
как осень в трубах по-ребячьи плачет!
Встаю. Иду. Растапливаю печь.
Дрова шипят. Они опять потухли.
Как едок дым, как трудно мне разжечь
чужую печь в чужой холодной кухне!
Квадрат окна теперь невнятно сиз.
Рассвет вползает нехотя и хмуро.
Колючий дождь царапает карниз,
в сенях молчат нахохленные куры.
Я прихожу с расплесканным ведром,

дыханьем грею синие ладони.
Как я давно покинула мой дом!
Но я уже не думаю о доме.
Все, что когда-то было мне дано,
опять встает, с ненастным утром споря,
и так уж, видно, людям суждено –
о счастье помнить в самом горьком горе.
И вот я вижу первую траву,
несмелую, в еще прозрачном парке.
Москвы-реки рябую синеву
избороздили хрупкие байдарки.
Сбегаю вниз... По ветру легкий флаг
полощется над пристанью резною,
но вход закрыт и непросохший лак
слепит глаза полдневной белизною.
Москва моя! Недобрые леса
от глаз моих надолго заслонили
твоих домов янтарные глаза,
твоих мостов негнущиеся крылья,
Нескучный сад в торжественной парче,
и то шоссе, что мне все время снится,
и первый снег, как перья белой птицы,
у Пушкина на бронзовом плече.
...Я позабыла, что в Москве темно.

Разговор с Москвой

В Москве тревога – это знали все
и ждали долго, хмуро и упорно.
Врывались ветки в матовой росе
в открытое окно переговорной.
Уже светало. Где-то вдалеке
кричал петух. Людей ко сну клонило.
Телефонистка в вязаном платке
мой номер первым вызвала лениво.
В кабине было душно и темно.
Твой голос вдруг раздался где-то рядом.
Гнездо мое... Не тронута оно,
с его окном, с его осенним садом.
Ты мне сказал: «Сейчас спустился вниз».
Я поняла: ведь я с тобой стояла
всю ночь, пока стучало о карниз
осколками горячего металла.
Но разговор был короток и сух.
Я не сказала ничего, что надо.
И как сумеешь передать на слух
тепло руки, касанье губ и взгляда!..
И все равно, я знала: ты живешь.
Пришел рассвет, умолкнули зенитки.
Одолевая утреннюю дрожь,
ты режешь хлеб и греешь чай на плитке.
А я иду по утренней росе,

за крышами серебряная Волга,
грузовики грохочут по шоссе,
кричит буксир настойчиво и долго.
И это – жизнь. И мы пройдем по ней.
Наш путь один, и счастье наше – тоже.
В крови, в пыли – и тем еще родней,
в опасности – и тем еще дороже.

Дорога

До города двенадцать километров.
Шоссе как вымерло – ни человека...
Иду одна, оглохшая от ветра,
перехожу взлохмаченную реку.
Мы на реке с тобой бывали вместе,
когда-то шли по этой вот дороге...
Как увязают в чавкающем тесте
усталые по непривычке ноги.
Как больно хлещут ледяные плети,
какой пронзительный, угрюмый вечер,
и ни огня на целом божьем свете,
и от мешка оцепенели плечи.
В нем розовая крупная картошка,
пронизанная сыростью осенней.
Приду и стукну в крайнее окошко,
и мать с огарком отопрет мне сени.
Огонь запляшет, загудит в железке,
вода забулькает. А я раскрою дверцу
и сяду возле. И при жарком блеске
письмом вчерашним отогрею сердце.
И долгий путь сквозь мокрое ненастье
осенней ночью – хриплой и бездомной –
мне кажется ничтожно малой частью
одной дороги – общей и огромной.

Письмо

Летел сквозь бурю лунный круг,
и ветер тучи рвал.
Письмо мне передал твой друг
проездом на Урал.

Спеша, конверт промокший весь
я тут же сорвала.
И не могла письма прочесть –
такая тьма была.

И только свет, неверный свет,
октябрьской луны
упал на маленький портрет
с летящей вышины.

И поняла я по чертам
неясного лица,
что ты, конечно, будешь там
до самого конца.

И пожалела об одном:
что разный путь у нас,
что я не в городе родном
в такой тяжелый час.

Октябрь 1941 года

Оправлен город в золото и медь.
С утра дымки над крышами толпятся.
Беспечный день. Как может он смеяться,
как смеет в листьях пурпуром гореть?
Как солнце в небе не потупит взгляда,
когда такое горе у дверей,
когда ни света, ни тепла не надо,
когда к Москве подходит канонада,
тяжелый гром немецких батарей?
Мне кажется, он медленно сочится
в безветрие чужого городка.
Но полдень тих, щебечет мирно птица,
висит листва, беззвучна и ярка.
Что делать мне? Я только помнить вправе.
Я только, жить тобой не перестав,
весь день блуждаю на границе яви,
от Кудрина до городских застав.
Мне, может быть, сюда вернуться надо б,
здесь тоже путь по-воински суров,
а я все там – между рогатых надолб
и выкопанных москвичами рвов.
А день идет... И стоголосым звоном
звонит в ушах бессонница. И ночь
опять приходит новым эшеленом,
на прошлую похожая точь-в-точь.

Опять идут измученные люди,
опять носилки, костыли, бинты,
страдание, кровь, простреленные груди
и хриплый бред палатной темноты.
Раздача чая, и разборка почты,
и наступающий врасплох рассвет,
и теплота на сердце оттого, что
тот, новый, спит, укрыт и обогрет.
Теперь бы лечь. На полчаса забыться.
Совсем светло. Усталость валит с ног.
А как мне спать? Мне надо торопиться,
опять идти какой-то из дорог.
Куда идти? Зачем идти? Кто помнит?
Опять бульвары и ночной Арбат,
метро и стены незнакомых комнат,
в глазах огни какие-то рябят...
Нет, я не сплю. Сменяются в дежурке.
Здесь госпиталь военный. Но, постой,
зачем в цветок набросаны окурки?
Там их нельзя бросать, на мостовой.
Над площадью, умытой и студеной,
там желтая высокая заря...
Опять идут военные колонны,
как в тот последний праздник Октября.
Кричат «ура»... И я с трибуной рядом.
И вот, в последнем озаренье дня,
он снова добрым утомленным взглядом
в упор с улыбкой смотрит на меня.
С Москвы-реки поземка ледяная

летит, шелка над строем теребя,
и я смеюсь от радости: «Родная
Москва моя! Он не отдаст тебя!»
Кричат «ура». В ушах звенит от крика.
Я ухожу, но я вернусь опять.
Как мне спокойно. Как тепло и тихо.
Как мне смертельно захотелось спать.
А утром сводка: в первый раз – другая.

Ночь

(Зима 1942 г.)

Смеясь и щуря сморщенные веки,
седой старик немислимо давно
нам подавал хрустящие чуреки
и молодое мутное вино.

Мы пили все из одного стакана
в пронзительно холодном погребке,
и влага, пенясь через край, стекала
и на землю струилась по руке.

Мы шли домой, когда уже стемнело
и свежей мглою потянуло с гор.
И встал до неба полукругом белым
морскою солью пахнувший простор.

От звезд текли серебряные нити,
и на изгибе медленной волны
дрожал блестящим столбиком Юпитер,
как отраженье крохотной луны.

А мы купались... И вода светилась...
И вспыхивало пламя под ногой...
А ночь была как музыка, как милость –

торжественной, сияющей, нагой.

...

Зачем я нынче вспомнила про это?
Здесь только вспышки гаснущей свечи,
и темный дом, трясущийся от ветра,
и вьюшек стук в нетопленной печи.

Проклятый стук, назойливый, как Морзе!
Тире и точки... точки и тире...
Окно во льду, и ночь к стеклу примерзла,
и сердце тоже в ледяной коре.

Еще темней. Свеча почти погасла.
И над огарком синеватый чад.
А воткнут он в бутылку из-под масла
с наклейкой рваной – «Розовый мускат».

Как трудно мне поверить, что когда-то
сюда вино звенящее текло,
что знало зной и пенные раскаты
замасленное, мутное стекло!

Наверно, так, взглянув теперь в глаза мне,
хотел бы ты и все-таки не смог
увидеть снова девочку на камне
в лучах и пене с головы до ног.

Но я все та же, та же, что бывало...

Пройдет война, и кончится зима.
И если бы я этого не знала,
давно бы ночь свела меня с ума.

Яблоки

Ю.Р.

Ты яблоки привез на самолете
из Самарканда лютою зимой,
холодными, иззябшими в полете
мы принесли их вечером домой.

Нет, не домой. Наш дом был так далеко,
что я в него не верила сама.
А здесь цвела на стеклах синих окон
косматая сибирская зима.

Как на друзей забытых, я глядела
на яблоки, склоняясь над столом,
и трогала упругое их тело,
пронизанное светом и теплом.

И целовала шелковую кожу,
и свежий запах медленно пила.
Их желтизна, казалось мне, похожа
на солнечные зайчики была.

В ту ночь мне снилось: я живу у моря.
Над морем зной. На свете нет войны.
И сад шумит. И шуму сада вторит

ленивое шуршание волны.

Я видела осеннюю прогулку,
сырой асфальт и листья без числа.
Я шла родным московским переулком
и яблоки такие же несла.

Потом с рассветом ворвались заботы.
В углах синел и колыхался чад...
Топили печь... И в коридоре кто-то
сказал: «По Реомюру – пятьдесят».

Но как порою надо нам немного:
среди разлук, тревоги и невзгод
мне легче сделал трудную дорогу
осколок солнца, заключенный в плод.

«Ты ложишься непривычно рано...»

Ты ложишься непривычно рано.
Прихожу, а комната темна.
Верно, спишь – я спрашивать не стану.
Света нет. И печка холодна.

Знаю, стосковалась ты по доме
долгою сибирскою зимой.
Взять тебя бы в теплые ладони,
отнести бы сонную домой.

Чтобы утром, как не расставались, –
круглый столик, снимок на стене...
Все, как раньше, все – любая малость,
издали любимая вдвойне.

Чтобы, воду зажигая в кружке,
ластясь у знакомого плеча,
пролегли от окон до подушки
два косых смеющихся луча.

Чтобы ты, глаза от света жмуря,
озадаченная тишиной,
поняла, что отгремела буря,
что прошла, не тронув, стороной.

За тебя, за твой беспечный вечер,
за покой усталого лица
всю бы тяжесть я взяла на плечи
и дошла бы с нею до конца.

За окном морозного тумана
мутная глухая пелена.
Я тебя обманывать не стану:
продолжается война.

Стихи о доме

Косое деревянное крыльцо,
облитое зеленоватым светом.
У дома было доброе лицо,
и дом всегда встречал меня приветом.

И ничего, что он в сугробах дрог,
что лед с крыльца
рубить случалось ломом,
он мне в ту пору помогал, как мог,
он был тогда мне настоящим домом.

Какой суровый, необычный быт!
Здесь все не так, все трудно по-иному...
Но здесь мой кров.
Здесь мой ребенок спит.
Здесь мы живем.
За все спасибо дому.

Теперь мне стыдно вспомнить, как порой,
в тоске, слепой, неистойвой, бывало,
я горькими словами называла
провинциальный домик под горой.

Он в дождь чернел и в жидкой глине вяз,
но нас берег от сырости и ветра.

Не в нем ли мы над картой в сотый раз
разлуку мерили на сантиметры?

Дым ел глаза... но то был добрый дым,
дым очага!

Добра не позабудем.

Спасибо стенам, тесным и простым,
теплу, огню, хорошим русским людям!

Домой

Сквозь дрему глухую, предутренный сон
я чувствую: поезд идет под уклон.
Прильнула к окну шелестящая муть,
легчайшим изгибом свивается путь.

И в свете февральских расплывчатых звезд
в двенадцать пролетов над Волгою мост.

В мерцанье рассвета уходит река.
Лесами скользит эшелона змея.
На запад, на запад, где дремлет Москва,
где в облаке сизом – родная моя.

Я завтра увижу покинутый дом,
я завтра приду к дорогому крыльцу, –
приду и немного помедлю на нем,
дорожный платок прижимая к лицу.

Я вспомню о щелях в садовой тени,
о вое тревог по ночам и о том,
как мы в беспокойные первые дни
полоски на стекла клеили крестом.

И самое горькое вспомнится мне:
взволнованный, людной, вечерний вокзал,

и небо в щемящем закатном огне,
и что мне любимый, целуя, сказал.

Мне этого часа вовек не забыть.
Да разве мы прежде умели любить?
Да разве мы знали, что значит война,
как будет разлука горька и длинна?
...На запад скользит эшелона змея,
все ближе мой город, отчизна моя!

«Вот и город. Первая застава...»

Вот и город. Первая застава.
Первые трамваи на кругу.
Очень я, наверное, устала,
если улыбнуться не могу.

Вот и дом. Но смотрят незнакомо
стены за порогом дорогим.
Если сердце не узнало дома,
значит, сердце сделалось другим.

Значит, в сердце зажилась тревога,
значит, сердце одолела грусть.
Милый город, подожди немного, –
я смеяться снова научусь.

«Помню празднество ветра и солнца...»

Помню празднество ветра и солнца,
эти лучшие наши часы,
и ромашек медовые донца,
побелевшие от росы.

Помню ржавые мокрые листья
в полусвете угасшего дня.
Горьких ягод озябшие кисти
ты с рябины срывал для меня.

Помню, снежные тучи повисли,
их кружила седая вода.
Все улыбки, и слезы, и мысли
я тебе отдавала тогда.

Я любила и холод вокзала,
и огней исчезающий след...
Я, должно быть, тогда еще знала –
так рождается песня на свет.

«У каждого есть в ЖИЗНИ ХОТЬ ОДНО...»

У каждого есть в жизни хоть одно,
свое, совсем особенное место.
Припомнишь двор какой-нибудь, окно,
и сразу в сердце возникает детство.

Вот у меня: горячий косогор,
в ромашках весь и весь пропахший пылью,
и бабочки. Я помню до сих пор
коричневые с крапинками крылья.

У них полет изменчив и лукав,
но от погони я не уставала –
догнать, поймать во что бы то ни стало,
схватить ее, держать ее в руках!

Не стало детства. Жизнь суровой, строже.
А все-таки мечта моя жива:
изменчивые, яркие слова
мне кажутся на бабочек похожи.

Я до рассвета по ночам не сплю,
я, может быть, еще упрямей стала –
поймать, схватить во что бы то ни стало!

И вот я их, как бабочек, ловлю.

И с каждым разом убеждаюсь снова
я в тщетности стремленья своего –
с пыльцой стертой, тускло и мертво
лежит в ладонях радужное слово.

«Нельзя о слове, как о мотыльке!..»

Нельзя о слове, как о мотыльке!
Ты прав. Я вижу: на заре бессонной,
как золото, блестяще и весомо,
лежит оно в неверящей руке.

А после друг нагонит по следам
старателя с неожиданною находкой,
оценит цвет и тяжесть самородка
и равнодушно скажет: «Колчедан».

«Когда-то я любимого ждала...»

Когда-то я любимого ждала,
единственного нужного на свете!
Тогда был май, черемуха цвела,
в окно влетал студёный горький ветер.

Был лунный сад в мерцающем снегу;
он весь дышал, смеялся веткой каждой,
а мне казалось – больше не смогу!
Но я тогда другой не знала жажды!

Он не пришел. Зазеленел рассвет.
Истлели звезды. Звякнула синица.
И вот теперь мне кажется... Но нет,
ничто с моей тоскою не сравнится,

когда слова теснятся в темноте,
уходят, кружат и приходят снова,
ненужные, незванные, не те,
и нет нигде единственного слова!

«Нет, и это на правду совсем не похоже...»

Нет, и это на правду совсем не похоже –
облетает пыльца, и уходят друзья.
Жить без бабочки можно,
без золота – тоже,
без любимого – тоже, –
без песни – нельзя.

«Словно засыпающий ребенок...»

Словно засыпающий ребенок,
бормотал невнятное родник.
И казался трогательно тонок
полумесяц, вышедший на миг.

Помнится неловкое объятие
у приволжских шелковистых ив,
и как долго не могла понять я,
отчего со мной ты молчалив.

...

Как невесел месяц на ущербе,
как поля озябшие пусты,
как мертвы на постаревшей вербе
свернутые в трубочку листья!

Мы с тобою тоже постарели:
каждому дорога нелегка...
От шершавого сукна шинели
разгорелась у меня щека.

Но спроси, и я тебе отвечу,
что за встречу, посланную нам,
за подаренный судьбою вечер
я любую молодость отдам.

Разлука

I

В руке сжимая влажные монеты,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как в темноте, в слепом пространстве где-то,
звонок смеется в комнате пустой.

Я опоздала. Ты ушел из дома.
А я стою – мне некуда идти.
На ветровой простор аэродрома
в такую ночь не отыскать пути.

И я шепчу сквозь слезы: «До свиданья!
Счастливым путь, любимый человек!»
Ничтожная минута опозданья
мне кажется разлукою навек.

II

Утром на пути в аэропорт
улицы просторны и пусты.

Горизонт туманом полустерт,
розовеют почками кусты.
Вся в росе, младенчески мягка
вдоль шоссе топорщится трава.
В сердце с ночи забралась тоска –
каждая разлука такова.
На перроне – голубой забор,
тени бродят, на песке скользят...
Дальше – ветер, солнце и простор.
Дальше провожающим нельзя.
В облаках, стихая, как струна,
«Дуглас» чертит плавный полукруг.
Радость встреч была бы не полна
без щемящей горечи разлук.
За разлукой есть далекий час.
Как мы станем ждать его с тобой!..
Он всегда приходит в первый раз,
заново подаренный судьбой.

«Спокойный вечер пасмурен и мглист...»

Спокойный вечер пасмурен и мглист.
Не слышно птиц среди древесных кружев.
Пустынна улица. Последний ржавый лист
в морозном воздухе легчайший ветер кружит.

Любимая осенняя пора.
На облаках – сиреневые блики,
на светлых лужицах каемка серебра,
и над землей – покой, безмерный и великий.

Как лживо все: и эта тишина,
и мягкий полог облачных волокон...
Как пристально в глаза людей война
глядит пустыми впадинами окон.

«Настойчивой стайки воспоминаний...»

Настойчивой стайки воспоминаний
никак мне нынче не отогнать.
Глаза закрываю, а все в тумане
балтийской зари золотится прядь.

И тучи, курчавясь, несутся мимо...
И ветер крепчает, волну дробя.
Ты прежде всегда меня звал любимой,
а я не любила, помню, тебя.

Нет. Наши дороги легли не рядом.
Зачем же столько суровых дней
все чудится мне, как воют снаряды,
как свишут пули над жизнью твоей?

И мысль пробирается дымной чашей,
по скалам и топям, сквозь ночь и муть,
я нынче бываю с тобою чаще,
чем прежде бывала когда-нибудь.

Все нынче другое – души и лица,
другая радость, другой покой...
Я так бы хотела тебе присниться

Не той, не прежней... Совсем другой.

«Ты мне чужой – не друг и не любимый...»

Ты мне чужой – не друг и не любимый,
на краткий час мы жизнью сведены.
Ты видел смертью взрытые равнины,
а я такой не видела войны.

Горит в пылинках солнечное утро,
мерцает зной... И мы одни с тобой.
Ты так в глаза мои глядишь, как будто
они полны водою ключевой.

Глядишь в глаза, молчишь, сутуля плечи,
рука твоя робка и горяча...
Что я скажу? Что я тебе отвечу?
Ты вправе пить из каждого ключа.

Но как бы сердце правдою ни сжалось,
я все равно ее не утаю:
ты ласки ждешь, а ласки не осталось,
ты ждешь любви – она с другим в бою...

«Резкие гудки автомобиля...»

Резкие гудки автомобиля,
сердца замирающий полет.
В облаках белесой крымской пыли
прячется нежданный поворот.

Полны звона выжженные травы.
Ветром с губ уносятся слова.
Слева склоны, склоны, а направо –
моря сморщенная синева.

Ветер все прохладнее. Все ближе
дальних гор скалистое кольцо.
Я еще до сумерек увижу
ваше загорелое лицо.

Но когда б в моей то было власти,
вечно путь я длила б, оттого
что минуты приближенья к счастью
много лучше счастья самого.

Ночь

Ночь, как быть мне и как рассчитаться с тобою
за холодный закат, за асфальт голубой,
за огни, за твое колдовство молодое
над речной, смоляной, шелестящей водой?

Набегающий дождь, фонари и скольжение
маслянистых разводов по руслу реки...
Ты пришла, как внезапное опровержение
всех сомнений моих, всей тоске вопреки.

Глухо плещет вода о бетонное ложе.
Дождь рванулся по крышам. Уныло, темно...
Да... И все-таки так ты на счастье похожа,
что мне кажется – может быть, это оно.

«Да, ты мой сон. Ты выдумка моя...»

Да, ты мой сон. Ты выдумка моя.
Зачем же ты приходишь ежечасно,
глядишь в глаза и мучаешь меня,
как будто я над выдумкой не властна?

Я позабыла все твои слова,
твои черты и годы ожидания...
Забыла все. И все-таки жива
та теплота, которой нет названья.

Она, как зноя ровная струя,
живет во мне. И как мне быть иною?
Ведь если ты и выдумка моя –
моя любовь не выдумана мною.

«И знаю все, и ничего не знаю...»

И знаю все, и ничего не знаю...
И не пойму, чего же хочешь ты,
с чужого сердца с болью отдирая
налегших лет тяжелые пласты.

Трещат и рвутся спутанные корни.
И вот, не двигаясь и не дыша,
лежит в ладонях, голубя покорней,
тобою обнаженная душа.

Тебе позволена любая прихоть.
Но быть душе забавою не след.
И раз ты взял ее, так посмотри хоть
в ее глаза, в ее тепло и свет.

Чиж

Я зёрна сыпала чижу
и воду в блюдец наливала.
Мне было... Сколько – не скажу, –
я до окна не доставала.

Я подставляла, помню, стул,
чижу просовывала ветку,
а чтобы вечером уснул,
платком завешивала клетку.

Суббота. Чистые полы.
Басы далеких колоколен.
И стекла празднично светлы.
А чиж молчит, угрюм и болен.

Закат ползет по скатам крыш;
звеня о стекла бьется муха...
В моих ладонях мертвый чиж,
не птица, нет, – комочек пуха.

И не доступная уму
тоска, сжимающая горло...
Сама не знаю почему,
но время этого не стерло.

Я помню: приоткрыла дверь,
и луч дрожит на этой двери...
Мне только, может быть, теперь
понятной стала та потеря.

Осень

Нынче улетели журавли
на заре промозглой и туманной.
Долго-долго затихал вдали
разговор печальный и гортанный.

С коренастых вымокших берез
тусклая стекала позолота;
горизонт был ровен и белес,
словно с неба краски вытер кто-то.

Тихий дождь сочился без конца
из пространства этого пустого...
Мне припомнился рассказ отца
о лесах и топях Августова.

Ничего не слышно о тебе.
Может быть, письмо в пути пропало,
может быть... Но думать о беде –
я на это не имею права.

Нынче улетели журавли...
Очень горько провожать их было.
Снова осень. Три уже прошли...
Я теплее девочку укрыла.

До костей пронизывала дрожь,
в щели окон заползала сырость...
Ты придешь, конечно, ты придешь
в этот дом, где наш ребенок вырос.

И о том, что было на войне,
о своем житье-бытье солдата
ты расскажешь дочери, как мне
мой отец рассказывал когда-то.

Костер

Чахлый лес, сквозной, багряно-рыжий,
заткан солнцем вдоль и поперек.
Как сейчас я этот полдень вижу,
красный от брусники бугорок.

Корчится атласная берёста
на почти невидимом костре.
Мне с тобою весело и просто,
как девчонке, школьнице, сестре.

Наверху негреющая просинь,
зябких листьев вековечный спор.
Мы придем на будущую осень
в эту рощу разложить костер.

А на осень бушевала буря.
Ты вернулся без меня, один.
Потерялся в непривычном гуле
лепет перепуганных осин.

И в шинели серой, с автоматом
у березовых атласных ног
ты прилег за круглый и примятый
красный от брусники бугорок.

И пошли, пошли пути-дороги
колесить на тысячи ладов.
И стоишь теперь ты на пороге
незнакомых прусских городов.

Верно, скоро выйдет срок разлуке.
И, придя в знакомые места,
отогреем мы сердца и руки
у родного русского костра.

Тропинка

Ночами такая стоит тишина,
стеклянная, хрупкая, ломкая.
Очерчена радужным кругом луна,
и поле дымится поземкою.

Ночами такое молчанье кругом,
что слово доносится всякое,
и скрипы калиток, и как за бугром
у проруби ведрами звякают.

Послушать, и кажется: где-то звучит
железная разноголосица.
А это все сердце стучит и стучит –
незрячее сердце колотится.

Тропинка ныряет в пыли голубой,
в глухом полыхании месяца.
Пойти по тропинке – и можно с тобой,
наверное, где-нибудь встретиться.

«Песня моя, куда ты ушла...»

Песня моя, куда ты ушла,
где мы расстались с тобой?
Сыпятся звезды, зреет шашла,
грозен осенний прибой...
Дымные космы по ветру клубя,
мчится вдоль берега он.
Как мне тревожно, песня моя,
радость не в радость мне без тебя,
сон без тебя не в сон.
Может быть, ты залетела туда,
где обнимается с небом вода?
Может, скитаешься в диких камнях?
Спишь, можжевельник шершавый обняв?
Может, ты видишь такое во сне,
что никогда не привидится мне!
Может, ты снова шагаешь в поход,
гибнешь в беззвездную, в ту
страшную полночь под Новый год
в Феодосийском порту?
Медленно тянется дней череда
пугающей пустоты...
Песня моя, а вдруг навсегда
меня покинула ты?
Рамы пускаются в пляс на ветру,
стекла бросает в дрожь...

Я не засну и дверь не запру –
а вдруг ты сегодня придешь?

«Еще шуршат, звенят и шепчут капли...»

Еще шуршат, звенят и шепчут капли,
с листы катясь в пахучую траву.
И каждый звук в молчанье сада вкраплен,
как зерна звезд в ночную синеву.

Перед окном черемух горьких чащи,
как будто вниз упали облака.
На этот мир цветущий и звенящий
я не могу смотреть издалека.

Мне мало звезд – десятков, сотен, тысяч.
Моя тоска тревожна и остра.
Я так хочу хотя бы искру высечь
для твоего неяркого костра.

Далекие лучистые кристаллы.
Холодные небесные огни.
Мне мало звезд, мне лучших песен мало,
когда не мною созданы они.

«Насыпает камешки в ведерки...»

Насыпает камешки в ведерки,
носит от скамейки до ворот...
Я стою на солнечном пригорке
в первый раз в пилотке, в гимнастерке...
Девочка меня не узнает.

Я сама себя бы не узнала
три недолгих месяца назад...
Вдруг она взгляделась, подбежала,
засмеялась: «Мама, ты солдат?»

Жестяные пыльные ведерки
раскидала посреди двора...
Для нее пока еще игра –
новый двор и мама в гимнастерке.

«Уходит день, в углах синее тени...»

Уходит день, в углах синее тени.
Бледнеют туч румяные края.
Ко мне, как медвежонок, на колени
карабкается девочка моя.

Беру ее, касаюсь шейки тонкой,
откидываю волосы со лба.
Она смеется беззаботно, звонко,
она со мной, храни ее судьба!

В такое время нелегко на свете,
и много в жизни сожжено дотла.
Я никогда не думала, что дети
приносят столько мира и тепла.

«В оцепененье стоя у порога...»

В оцепененье стоя у порога,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как завывает первая тревога
над черною, затихшею Москвой.
Глухой удар,
бледнеющие лица,
колючий звон разбитого стекла,
но детский сон сомкнул твои ресницы.
Как хорошо, что ты еще мала...

Десятый день мы тащимся в теплушке,
в степи висит малиновая мгла,
в твоих руках огрызок старой сушки.
Как хорошо, что ты еще мала...

Четвертый год отец твой не был дома,
опять зима идет, белым-бела,
а ты смеешься снегу молодому.
Как хорошо, что ты еще мала...

И вот – весна.

И вот – начало мая.

И вот – конец!

Я обнимаю дочь.

Взгляни в окошко,
девочка родная!
Какая ночь!
Смотри, какая ночь!

Текут лучи, как будто в небе где-то
победная дорога пролегла.
Тебе ж видны одни потоки света...
Как жалко мне, что ты еще мала!

Прибой

У сутулых камней качало
незнакомый глубинный груз:
рыжих водорослей мочало,
голубое желе медуз.

А на смуглой ворчащей гальке,
в яркой пене, бегущей вниз,
оставались стекляшки, гайки
и десятки патронных гильз.

И ребенок в белой панамке,
торопясь, хватал из воды
то ли камушки, то ль останки
похороненной здесь беды.

Мать

Года прошли,
а помню, как теперь,
фанерой заколоченную дверь,
написанную мелом цифру «шесть»,
светильника замавленную жечь,
кольшет пламя снежная струя,
солдат в бреду...
И возле койки – я.
И рядом смерть.
Мне трудно вспоминать,
но не могу не вспоминать о нем...
В Москве, на Бронной, у солдата – мать...
Я знаю их шестиэтажный дом,
московский дом...
На кухне примуса,
похожий на ущелье коридор,
горластый репродуктор,
вечный спор
на лестнице... ребячьи голоса...
Вбегал он, раскрасневшийся, в снегу,
пальто расстегивая на бегу,
бросал на стол с размаху связку книг –
вернувшийся из школы ученик.
Вот он лежит: не мальчик, а солдат,
какие тени темные у скул,

как будто умер он, а не уснул,
московский школьник... раненый солдат.

Он жить не будет.

Так сказал хирург.

Но нам нельзя не верить в чудеса,

и я отогреваю пальцы рук...

Минута... десять... двадцать... полчаса...

Снимаю одеяло, – как легка

исколотая шприцами рука.

За эту ночь уже который раз
я жизнь держу на острие иглы.

Колючий иней выбелил углы,
часы внизу отбили пятый час...

О как мне ненавистен с той поры
холодоватый запах камфары!

Со впалых щек сбегает синева,
он говорит невнятные слова,
срывает марлю в спекшейся крови...

Вот так. Еще. Не уступай! Живи!

...Он умер к утру, твой хороший сын,
твоя надежда и твоя любовь...

Зазолотилась под лучом косым
суровая мальчишеская бровь,

и я таким увидела его,

каким он был на Киевском, когда
в последний раз,

печальна и горда,

ты обняла ребенка своего.

...

В осеннем сквере палевый песок
и ржавый лист на тишине воды...
Все те же Патриаршие пруды,
шестиэтажный дом наискосок,
и снова дети роются в песке...
И, может быть, мы рядом на скамью
с тобой садимся.

Я не узнаю
ни добрых глаз, ни жилки на виске.
Да и тебе, конечно, невдомек,
что это я заплакала над ним,
над одиноким мальчиком твоим,
когда он уходил.

Что одинок
тогда он не был...

Что твоя тоска
мне больше,
чем кому-нибудь, близка...

Капитаны

Не ведется в доме разговоров
про давно минувшие дела,
желтый снимок – пароход «Суворов» –
выцветает в ящике стола.

Попытаюсь все-таки взглядеться
пристальней в туман минувших лет,
увидать далекий город детства,
где родились мой отец и дед.

Утро шло и мглою к горлу липло,
салом шелестело по бортам...

Кашлял продолжительно и хрипло
досиня багровый капитан.

Докурив, в карманы руки прятал
и в белесом мареве зари
всматривался в узенький фарватер
Волги, обмелевшей у Твери.

И возникал перед глазами
причал на стынувшей воде
и домик в городе Казани,
в Адмиралтейской слободе.
Судьбу бродяжью проклиная,
он ждет – скорей бы ледостав...
Но сам не свой в начале мая,
когда вода растет в кустах

и подступает к трем оконцам
в густых гераневых огнях,
и, ослепленный мир обняв,
весь день роскошествует солнце;
когда прозрачен лед небес,
а лед земной тяжел и порист,
и в синем пламени по пояс
бредет красно-лиловый лес...
Горчащий дух набрякших почек,
колючий, клейкий, спиртовой,
и запах просмоленных бочек
и дегтя... и десятки прочих
тяжеловесною волной
текут с причалов, с неба, с Волги,
туманя кровь, сбивая с ног,
и в мир вторгается свисток –
привычный, хрипловатый, долгий...
Волны медлительный разбег
на камни расстилают пену,
и осточертевают стены,
и дом бросает человек...
С трехлетним черноглазым сыном
стоит на берегу жена...
Даль будто бы растворена,
расплавлена в сиянье синем.
Гремят булыжником ободья
тяжелых кованых телег...
А пароход – как первый снег,
как лебедь в блеске половодья...

Пар вырывается, свистя,
лениво шлепаются плицы...
...Почти полсотни лет спустя
такое утро сыну снится.
Проснувшись, он к рулю идет,
не видя волн беспечной пляски,
и вниз уводит пароход
защитной, пасмурной окраски.
Бегут домишки по пятам,
и, бакен огибая круто,
отцовский домик капитан
как будто видит на минуту.
Но со штурвала своего
потом уже не сводит взгляда,
и на ресницах у него
тяжелый пепел Сталинграда.

Жена прораба

Стать врачом она хотела,
малышей учить могла бы,
а на стройке то и дело
говорят:

– Жена прораба. –

Далеко, как будто не был,
переулок у Арбата,
светло-дымчатое небо,
домик с крышею покатою...

Здесь брезента плотный полог,
хлопающий на ветру,
солнца жгучего осколок
вспарывает поутру.

И теперь ее нисколько
не смутит наверняка,
если вдруг к походной койке
соберутся облака,
если за полночь в палатку
речка вломится, бурля,
если, встряхнута взрывчаткой,
из-под ног уйдет земля...

Так положено, товарищ,
здесь, на линии огня.

Ты стираешь, чинишь, варишь,
жизнь походную кляня:

– То тайга, то степь, то горы,
ездишь, ездешь – нет конца! –
... Впрочем, эти разговоры
так... для красного словца.
Может, жены есть счастливей,
но нужнее нет нигде.
Это ты с лопатой в ливень
стыла по пояс в воде.
Это ты в жару, бывало,
била щебень на шоссе,
засыпало путь обвалом –
на раскопку шла, как все...
Как зато была ты рада
и растрогана до слез,
проводя долгим взглядом
первый пробный паровоз...
Над ущельем по отрогам
паровозный лег дымок...
Значит, новая дорога
ждет строителей дорог.
Версты, версты, зной и сырость,
ветры с четырех сторон...
Ну, а сын хорошим вырос –
весь в отца удался он.
Сын находчивый, веселый,
к легкой жизни не привык...
Он сейчас московской школы
самый первый ученик.
Дни идут...

Что зря считать их:
не года важны – дела!
Худенькая, в темном платье,
ты, как девочка, смугла.
Возле узкого пробора
заблестела седина.
Скоро старость?
Нет, не скоро!
И наступит ли она?
Ты с уютом незнакома,
но душа тепла полна.
Ты, как все, хозяйка дома,
только дом твой – вся страна!

Аннушка приехала домой

Аннушка приехала домой.
Было очень холодно и лунно.
Белый след оставил за кормой
теплоход «Парижская коммуна».
Взвизгнуло в уключине весло,
приналег гребец что было силы.
Грузную завозню понесло, –
каждый раз на стрежне их сносило.
На горе в три яруса огни,
на отшибе светится окошко...
Это, Аннушка, твое.
Взгляни,
за оврагом в лопухах дорожка...
Вот ольха блеснула под бугром,
на тропинку резко тень бросаю...
Вот родник...
Сюда, гремя ведром,
прибегала девочка босая...
Где румянец пухлых детских щек,
две косички, узенькие плечи?
– Здравствуй, добрый старый родничок,
дай-ка выпить в честь счастливой встречи!.. –
Всхлипывая, в незнакомом платье,
на крылечко выбежала мать.
– Господи, вот радость-то!

А батя
бакены уехал зажигать.
Заскучала, ласточка моя?
Хорошо у вас, а все не Волга!
Чай, опять ты, дочка, ненадолго,
будто дело не потерпит дня! –
...Тысячи помех преодолев,
видный гидротехник из столицы
возвратился с юностью проститься,
напоследок из ключа напиться,
поглядеть, как лунной мглой дымится
дна речного будущий рельеф.
Сколько раз на картах ей самой
зачеркнуть пришлось деревню эту...
На три дня, наездившись по свету,
Аннушка приехала домой.

Стихи о любви

...Он громко с главным инженером спорил –
расстроенный, багровый человек.

На всех глядел он с неподдельным горем
из-под опухших от бессонниц век.

– Она еще поправится! –

твердил он. –

У ней еще, поверьте, хватит сил! –

Как будто бы о ком-то очень милом,
приговоренном к гибели, просил.

Он был готов заплакать как мальчишка,
тряся упрямо лысой головой...

А дело шло всего о старой вышке,
о скинутой со счета буровой...

...Рустам Али (тридцать второго года)
работал ночь

и день,

и снова ночь

в такую дьявольскую непогоду,
что катерок отшвыривало прочь.

Промок до нитки и оглох от ветра,
от качки тошно стало на душе...

Его никто не заставлял.

Но это,

как он сказал,

«в характере уже».

...А инженер пришел, когда светало.
Он мог бы спать. Но все-таки не спал.
Он вновь проверил сухость аммонала,
взглянул на штольни, осмотрел запал...
У горла билась жилка торопливо.
Он все шагал и глаз не мог закрыть.
И все ему казалось – силу взрыва
возможно сердцем удесятерить.
Все рассказать, все вспомнить – жизни мало.
Тесна бумага, и слова сухи.
Я до сих пор еще не написала
об этом настоящие стихи,
чтоб мне не стыдно было подарить их
своим друзьям, которые везде,
стихи такие, чтобы даже критик
их не назвал «стихами о труде».
Пренебрегая дружеским советом,
сто раз проверив доводы свои,
я все-таки настаиваю:
это
стихи не о труде,
а о любви!

Пути-дороги

Мне в путь никто не помахал платочком.
Трехдневный дождь гремел по водостокам...
И вот я стала движущейся точкой
с северо-запада к юго-востоку.

Навстречу рощи мокрые летели
и крыльями озябшими шуршали...
Летели искры огненной метелью
и кувыркались в речке с камышами.

Мостов кричало гулкое железо,
и встречный поезд, оглушая свистом,
как вихрь, вывертывался из-за леса
и исчезал за поворотом мгlistым...

На полустанках бегали ребята –
веселая продрогшая орава,
те самые, с которыми когда-то
я, девочкой, бруснику собирала.

В купе висел слоистый дым махорки,
окошко застил покрывалом бурым...
Но хмурый инженер с Магнитогорки
мне не казался ни чужим, ни хмурым...

И я узнала, кажется, майора.
Не он ли раненый лежал в палате?
Я спутницу узнала по узору
на немудреном бумазейном платье,

по медным косам, заплетенным туго,
и по румянцу на девичьей коже...
Ведь это школьная моя подруга...
А впрочем, нет... Но до чего похожа!

А непогодь не уставала злиться.
Секла по стеклам струйками косыми...
Потом немолодая проводница
рассказывала о погибшем сыне,

о старшей дочке, о внучонке Пете...
И все так близко, дорого, знакомо...
Пути-дороги... Бесприютный ветер...
А нам тепло. А мы – повсюду – дома.

Родина

Четыре недели у нас на глазах
с солдатскою жизнью прощался казах.
Лежал он истаявший, серый, как дым, –
как быть нам, что делать с таким молодым?
Ему говорю: – Поправляешься, друг, –
а он догорает, почти что потух.
А рядом капли гремит перестук,
с рассвета горланит соседский петух,
а в лужах такая лежит синева,
заглянешь – кружиться пойдет голова,
заглянешь – и сердце сожмется до слез:
и кто ж это радость такую принес?
– Ты, может быть, хочешь поближе к окну?
Дай ноги прикрою, в халат заверну.
А может, налить тебе чаю еще?
А может быть, снова заныло плечо?
– Спасибо, сестра, ничего не хочу.
Я лучше один полежу, помолчу. –
Тогда говорю я: – Будь ласков, скажи:
а верно, что степи у вас хороши?
Что ранней весною в тюльпанах они,
что красные маки в степи, как огни? –
И так у него засияли глаза,
как будто на них набежала слеза,
и темный румянец пошел по лицу,

как будто бы жизнь воротилась к бойцу.
И, сжав мои пальцы в бессильных руках,
привстал он и начал рассказывать мне
единым дыханьем, на двух языках,
о лучшей на свете своей стороне.
В палату хирург приходил и ушел,
пришла санитарка и вымыла пол,
и смерклось; и стала багровой заря...
Я, видно, солдата спросила не зря,
уснувшее сердце его бередя.
Я слышала, скрипнула дверь в коридор —
то смерть притворила ее, уходя...
На этом мы с ней и покончили спор.

...

Наш поезд стоит на разъезде в степи.
Тюльпаны, тюльпаны, куда ни ступи,
как смуглый румянец казахской весны,
под небом невиданной голубизны.
Так вот он какой, твой край дорогой,
сияющий, ветренный, знойный, нагой...
Когда же поднимется солнце в зенит,
сыпучий песок зашуршит, зазвенит,
о капле единственной небо моля,
иссохнут тюльпаны и маков моря,
и выгорит небо почти добела,
и дали завесит багровая мгла.

...

Но мимо платформы шагают друзья,
кудрявые саженцы в ведрах неся,

идут комсомольцы. И значит – война
за степь, чтоб всегда зеленела она.
Чтоб хлебом и хлопком густым проросла
земля, что солдата от смерти спасла.
Я знаю – он здесь, в этих жарких песках,
и снова в бою, и опять впереди...
Как друга обнять бы его, отыскав.
Хоть слово сказать...
Да попробуй найди.
Промчался товарный. Потом через миг
флажком полинялым махнул проводник.
И снова: сыпучих барханов ряды,
в струящемся мареве призрак воды,
и снова и снова, куда ни ступи,
тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны в степи.

На разъезде Чумыше

Соль в степи, как полуда,
и, на солнце рыжая,
выгибают верблюды
лебединые шеи...
Небо выше да выше,
дали шире да шире,
на разъезде Чумыше
две юрты небольшие.
Хлевушок из самана,
будто в шутку слепили...
Голубые барханы
Чумыш обступили.
А меж серой колючки
быстрых ног отпечатки,
в смуглой маленькой ручке
карандаш и тетрадки.
Ребятишки из дому
торопятся в школу...
Это только чужому
здесь пустынно и голо.
Это только чужому
не близко, не мило
все, что с детства
ребячья душа полюбила.
А в Москве еще сладко

спится вашей подружке.
Темно-русые прядки
разбрелись по подушке...
Еще солнце в дороге,
еще ночь на пороге,
у кровати в порядке –
карандаш и тетрадки.
Дождь холодный, осенний
барабанит по крыше...
...Что за синие тени
на разъезде Чумыше?
И бегут на занятия
девчонки, мальчишки,
полосатые платья,
цветные штанишки...
Вьется тропка по склону
от разъезда до школы.
Это только чужому
здесь пустынно и голо!

Разлука

За дугою виадука,
за щетиною леска
начинается разлука,
беспокойная тоска.

Сосны кружатся враскачку,
искры гаснут на лету...
Грозной башней водокачка
отплывает в темноту.

Встречный поезд на разъезде
нас приветствует гудком,
добродушные соседи
угощают кипятком.

И колхозница-старушка
(не живетя без забот)
мне домашнюю ватрушку
на ладони подает...

Мы летим родной страную
пять ночей, четыре дня...
Очень ласкова со мною
вся дорожная родня...

А тоске не видно края.
За окном густеет тьма...
До зари перебираю
строки первого письма.

Нахожу за словом слово,
теплотою их дышу,
я тебе письма такого
никогда не напишу.

Грусть моя тебя встревожит,
опечалит, может быть...
И притом в дороге может
слово жаркое остыть.

Я открытку лучше брошу
где-нибудь тебе в пути:
дескать, помню, мой хороший,
будь здоров и не грусти.

Вот и все. Качает очень,
и к тому ж неярк свет...
...Тает, тает у обочин
дыма стелющийся след.

Застилает белым дымом
версты, годы, города...
Но любимые к любимым
возвращаются всегда!

Станция Баладжары

Степь, растрескавшаяся от жара,
не успевшая расцвести...
Снова станция Баладжары,
перепутанные пути.
Бродят степью седые козы,
в небе медленных туч гурты...
Запыхавшиеся паровозы
под струю подставляют рты.
Между шпалами лужи нефти
с отраженьями облаков...
Нам опять разминуться негде
с горьким ветром солончаков.
Лязг железа, одышка пара,
гор лысеющие горбы...
Снова станция Баладжары
на дороге моей судьбы.
Жизнь чужая, чужие лица...
Я на станции не сойду.
Улыбается проводница:
– Поглядите, мой дом в саду! –
В двух шагах низкорослый домик,
в стеклах красный, как медь, закат,
пропыленный насквозь тутовник...
(А она говорила – сад.)
Но унылое это место,

где ни кустика нет вокруг,
я глазами чужого детства
в этот миг увидала вдруг,
взглядом девушки полюбившей,
сердцем женщины пожилой...
И тутовник над плоской крышей
ожил, как от воды живой.

Сапер

Кончив работу,
он сел на крыльцо,
вытер от пыли и пота
лицо.

Вынул потертый кисет из кармана,
тот, что в последнем счастливом году
сшила рязанская девушка Анна
и подарила у всех на виду.

Годы счастливые
снова вернутся,
годы разлуки
подходят к концу...

В ковшике медном
солдатка Ануца
теплую воду выносит
бойцу.

Пьет он и думает: как это странно,
что в разоренном молдавском доме
девушка Анна, девушка Анна
вдруг издали улыбнулась ему.

В старенькой кофте с разводами пестрыми,
в копоти черной и белой пыли...

Как же назвать вас, если не сестрами,
верные женщины нашей земли!

Тихая улица – пепел да щебень,
позднее лето, ни облака в небе,
щедрый и праздничный свет...
Клен, собирающий солнце в ладони,
и непросохшая надпись на доме:
«Мин
в доме
нет».

Прощанье

День осенний... день ненастный,
тучи, тучи без конца...
Вдоль дорог шиповник красный
от Страшен до Быковца.

В камыше туманы ткутся,
как в дыму холмов валы...
По шоссе влекут каруцы
флегматичные воны...

И когда летит трехтонка,
вся в пыли, за поворот,
жмется жалобно в сторонку
устаревший транспорт тот.

В кукурузе бродит ветер,
косы желтые трепля...
Листья с шорохом на грейдер
осыпают тополя...

Ах, Молдавия, Молдова,
всей душою люблюя,
как же я останусь снова
без хорошей без тебя?

Как же нам с тобой проститься,
если натвердо не знать,
что весной с зимовья птицы
возвращаются опять?!

Разлетается по склонам
лета мертвая краса...
Фрунзе верде – лист зеленый –
от души оторвался!

Другу

Ни прошлого мучительное жало,
ни ревности бессмысленная власть.
Бывают дни, когда любовь устала
и прячется, не грея, не лучась.

В такие дни, когда на сердце скука,
а в голосе осенний холодок,
нам кажется возможною разлука,
и тень ее ложится на порог.

Мой старый друг, не трогай нити тонкой
(что порвано – нельзя соединить),
но береги, как берегут ребенка,
который при смерти, но должен жить.

Дагестанская ночь

Желто-тусклые фары,
рек невидимых гул,
в черной бездне –
янтарный,
словно соты,
аул...

В чьем-то доме ночевка,
тишина... темнота...

Моноotonно, как пчелка,
песню тянет вода.

Ядра завязей плотных
холодны и тверды:
гордость сердца чьего-то,
чьей-то жизни труды...

Сонно листьями плещет
сад, незримый в тиши,
но не лечит, не лечит
горный ветер души,
только хуже тревожит,
память мне бередя...

Нет, не будет...

Не может
счастья быть без тебя.

Поздно, поздно,

ах, поздно!

Все равно не помочь.

Раскаленные звезды...

Дагестанская ночь.

Осень в Латвии

На море вода похолодела,
кажется тяжелой и литой...
и на узенькую Юрас-иела
льется с вязов ливень золотой.
Посмотри, как рассветает поздно,
как становится с недавних пор
все грознее по ночам беззвездным
ветра нарастающий напор...
А наутро замолкают сосны,
белки верещат над головой,
море светит синью купоросной,
воздух дышит пылью штормовой.
Рыбаки просушивают сети,
дюны ослепительно белы,
смуглые, обветренные дети
чайками взлетают на валы.
Пахнет морем, яблоками, хвоей,
над селеньями пернатый дым...
Все труды оплачены с лихвою,
свежим хлебом, медом молодым.
Хорошо здесь осенью, и все же
не могу я больше ждать ни дня:
там, в Москве, тоску мою тревожа,
осень наступает без меня...
Мост крылатый, парк полиловелый,

кручи башен над Москвой-рекой.

...

Прохожу я тихой Юрас-иела,
в переводе – улицей Морской.

На море

Я шла сюда с душою темной,
лишенной мужества и сил,
но ветер шумный и огромный
меня схватил и ослепил.
Валы грозили, и гремели,
и наступали на меня,
и скользко вспыхивали мели
в шипенье красного огня.
К закату неся парус медный,
надменно выгнут и упрямя,
и я припомнила, что дед мой
всю жизнь скитался по морям...
И я подумала о сыне,
как он, от всех морей вдали,
упорно, с крыльями косыми
выстругивает корабли.
Швыря водорослей плети,
вскипали пенные горбы,
и в душу мне ворвался ветер
неуспокоенной судьбы.
И так смеялся, так гремел он,
закатным пламенем обвит,
что я припомнить не посмела
вчерашних маленьких обид!

Мы праздник встречали в дороге

Мы праздник встречали в дороге,
декабрьской студеною ночью,
в седых оренбургских степях...
Мы мчались вдоль скатов пологих,
и пара кудлатые клочья
цеплялись за снег второпях.

Мы праздник встречали в дороге.
Мы песни хорошие пели,
мы пили вино из стаканов
и рюмок плохого стекла...
Мы были одними из многих,
которых вот так же качало,
которых такая же сила
по дальним дорогам влекла.

Почти незнакомые люди,
пришли мы друг другу на помощь,
и каждый старался соседа
утешить, что, мол, не беда,
что все еще в будущем будет
и что новогодняя полночь
с веселой и дружной беседой
в пути хороша иногда!

Мы мчались сквозь полночь и вьюгу,
мы мчались в шипенье и гуде
колючей уральской зимы...
Мы счастья желали друг другу –
почти незнакомые люди,
почти незнакомые люди,
друг в друга поверили мы.

Свистки улетали далече...
Мы пели, смеялись, молчали,
мечтали при свете неярком
в вагоне, продутом насквозь...
И был этот праздничный вечер
моим новогодним подарком,
а счастье, что мне пожелали,
тотчас по приезде сбылось!

Норд

Горизонт туманом полустерт –
это предвещает непогоду...
Третьи сутки оголтелый норд
гонит в Каспий скомканную воду.
В три дуги сгибает деревца,
крутит пыль, крушит с налета стекла...
Ветер, ветер, нет ему конца,
пухнут веки, в горле пересохло...
В это время ни души живой
на Приморском не найдешь проспекте.
Только ветра непрерывный вой,
только запах пыли, роз и нефти...
Только бухта в мачтовых огнях,
город, круто уходящий вправо,
только память о минувших днях,
днях, когда рождалась наша слава.

А на самой дальней буровой,
где-нибудь у острова Артема,
парень с непокрытой головой,
оглушенный скрежетом и громом,
задыхаясь в водяной пыли,
в этот час спокойно и умело
за семь километров от земли
делает свое простое дело.

Фонаря летящий огонек,
четкие короткие движенья...

А ему, наверно, невдомек,
что сейчас он выиграл сраженье.

Он в бою сегодня, как вчера,
с ветром,
с морем,
с временем,
с железом...

Он от суши начисто отрезан –
третий день не ходят катера,
оттого, что разгулялся норд,
празднуя приход весны в столицу...

Черный город в дымке распростерт.

Этой ночью никому не спится,
так необычайно хороша,
без огней, без яркого убранства,
рвущаяся в пенное пространство
города мятежная душа.

Моряна

Из чуть голубоватого тумана
всплывает Нарген розовой стеной...
С утра задула крепкая моряна
и точит камни острою волной.
Гудит гудок, и второпях проходит,
фырча и дым по ветру расстелив,
залащенный, чумазый пароходик,
навеселе вернувшийся в залив.
Идут валы как будто в белых перьях,
крепчает ветер, влажный и тугой,
а под ногами раскаленный берег,
великолепно выгнутый дугой...
Теперь как будто вылеплен из воска
далекий Нарген – кучка желтых сот...
Давным-давно пришел из Красноводска
слепящий мокрым лаком теплоход.
Шумит, шумит соленая моряна,
шумит, не утихая ни на миг...
Мне кажется, тяжелый зной Ирана
сюда с потоком воздуха проник.
Мне кажется, тусклее небо стало,
а ветер горячей и солоней...
Вчера я эту девушку видала.
И – как умела – говорила с ней.
Она была красивою и стройной.

Она была по-южному смугла.
Она была почти совсем спокойной
и только улыбнуться не смогла.
Без узелка, без паспорта, без визы
три дня назад она пришла сюда,
и дороги ей улицы Тавриза,
как нам родные наши города.
Но все еще звучат в ушах угрозы,
рыдания, стоны, выстрелы кругом...
И Саади прославленные розы
раздавлены солдатским сапогом.
Чужие лица, говор иностранный...
Сестра моя, всем сердцем мы с тобой!
Шумит, шумит соленая моряна
над нераздельной нашею судьбой.
И на земле трепещет тень инжира,
и детский смех подобен ручейку,
и мимо нас идут солдаты мира,
твои друзья – рабочие Баку.

Путь к руде

Дорога выбита в горах,
дорога выгрызена в скалах...
Река сквозь каменистый прах
что день, то новый путь искала.
То растекалась между глыб,
то собиралась воедино...
Столетия, верно, не могли б
такие горы с места сдвинуть.
Река ломилась напролом,
летела в грохоте и мыле,
над искристым ее крылом
ветвящиеся тени плыли.
Старик платан, оторопев,
в воде по пояс брел по круче...
Потом реки внезапный гнев
сменялся радугой летучей,
и под навесом легких лоз
она струила зыбь рябую,
пока ей в русло довелось
на день прилечь, до новой бури.
Какое дело до реки
рабочим, пыльным и усталым?
Они опять несут мешки
с кирпично-красным аммоналом.
У них характер слишком крут

и удивительные руки...
Они, как паутину, ткут
над пропастями виадуки.
А над рудой – броня веков,
твердым-тверда ее защита:
над ней пласты роговиков
тупят сверло из победита.
И смуглолицый Михбали,
забыв Мугани край привольный,
весь в пухлой буровой пыли,
не покидает узкой штольни.
По-детски горд своею властью,
он рушит горные пласты,
впервые постигая счастье
осуществления мечты!

Из окна вагона

В сугробы осыпая блески,
мерцающая пылью ледяной,
белоголовые березки
перебегают под луной.
Они повергнуты в смятенье
и перепуганы до слез...
Их светло-дымчатые тени
шарахаются под откос.
А ели – те стоят спокойно,
лесной, задумчивый народ,
и смотрят из-под шалей хвойных
вдогонку вполуоборот...
А по обочинам зыбучим,
почти у насыпи рябой,
кусты, ушанки нахлобучив,
бегут за поездом гурьбой.
А паровоз свистит и дразнит:
мол, не догонишь, не спеши...
Наверно, нынче зимний праздник
справляется в лесной глуши.
Там все в серебряном тумане,
в лиловом ледяном огне,
и, верно, где-то на поляне
танцуют зайцы при луне.

Пойти туда бы, покружиться
по хитрой заячьей тропе,
но только отсветы, как птицы,
влетают в темное купе
и между спящими с опаской
кружат, пока не рассвело,
и над моей постелью тряской
роняют светлое перо.

Бессонница

Кряхтели рамы, стекла звякали,
И все казалось мне:
вот-вот
уснувший дом сорвется с якоря
и в ночь, ныряя, поплывет.
Луна катилась между тучами,
опутанная волокном,
как мачта,
дерево скрипучее
раскачивалось под окном.
Давным-давно легли хозяева,
огонь погас.
А сна все нет.
И заманить ничем нельзя его.
И долго мешкает рассвет.
От окон тянет острым холодом,
и хорошо и страшно мне.
Все крепко спят.
И с грозным городом
я остаюсь наедине.
Наш утлый дом по ветру носится,
раскачивается сосна...
И до чего ж она мне по сердцу,
азербайджанская весна!

Письма

Долго ли испытывать терпенье?
Долго ли –
опять,
опять,
опять –
пыльные, истертые ступени,
очередь к окошку номер пять?
Пачки писем в узловатых пальцах,
равнодушный, шелестящий звук...
Письма – эти вечные скитальцы –
ждут других, гостеприимных рук.
И, быть может, долгими ночами,
за семью печатями, в тиши,
тяжело вздыхают от печали
чьей-нибудь непонятой души!
В семь часов окно должно закрыться.
Завтра в девять – отвориться вновь...
В белых треугольниках томится
невостребованная любовь.
Я взяла бы вас и отогрела,
обо всем бы выслушала я.
Только нету до меня вам дела,
если вы искали не меня!
...У окошка с полукруглой рамкой,
где от ламп зеленоватый свет,

седовласая азербайджанка
мне привычно отвечает: – Нет. –
Выхожу, иду на берег к морю,
где в мазутных лужицах земля,
и смотрю, смотрю, как за кормою
пенится дорога корабля,
как на мачте сонный парус виснет
и, спеша в далекие края,
мчатся чайки...
Белые, как письма.
Неручные, как любовь твоя!

Арык

Глаз к сиянью такому еще не привык...
Зной густой, золотой и тягучий, как мед...
А за домом, в саду,
пробегают арык,
как живой человек,
говорит и поет.
Он струится, как будто в ущелье
зажат,
меж забором и каменной пестрой стеной.
Распахнется калитка...
Лучи задрожат...
Засмуглеет рука...
Брызнет звон жестяной.
С мягким бульканьем вглубь окунется кувшин,
И опять тишина.
Он один ни на миг
не стихает, сбегая с далеких вершин,
торопливый арык,
говорливый арык...
В нем вода холодна и молочно-бела,
и, как лента из шелка, упруга в горсти...
С первой встречи я сердце ему отдала.
Пели птицы в саду:
«Не спеши, погости».
Счастье ходит со мной по дороге любой...

А покой...

А покоя не будет нигде.

В час, когда занимался рассвет голубой,
я пришла попрощаться к ханларской воде.

Тишина

Двое шли и ссорились.
А ночь
голубела празднично и хрупко.
Двое шли и ссорились.
Уступка
не могла уже ни в чем помочь.
Их несправедливые слова
раздавались явственно и гулко.
А в несчетных лужах переулка
залегла такая синева,
словно небо в них перелилось...
В каждой синяя луна лежала,
в каждой облако, дымясь, бежало,
тонкое и светлое насквозь.
Пахло глиной и древесным соком,
холодом нестаявшего льда.
Шелестела зябкая вода,
торпясь по звонким водостокам.
Мир лежал торжественный такой
и необычайно откровенный.
Он бы выдал тайны всей вселенной,
но под равнодушной ногой
разлеталась вздрезбегу луна,
облако тонуло,
и на части

хрупкая дробилась тишина...

И никто не вспомнил, что она –
тоже счастье.

И какое счастье!

«Мне сказали – ты в городе Энске живешь...»

Мне сказали – ты в городе Энске живешь.
Очень занят работой и встречи не ждешь.

Я хожу по Москве, майским ветром дышу,
ни открыток, ни писем тебе не пишу.

И хотя ты расстался со мной не любя,
но молчанье мое огорчает тебя.

И представь – на булыжной чужой мостовой
вдруг лицом бы к лицу мы столкнулись с тобой.

Ты подумал бы: чудо!

А вовсе и нет –

просто я на курьерский купила билет

или села во Внукове на самолет,
а до Энска четыре часа перелет.

Как тебя обняла бы я, друг дорогой!

Только в Энск никогда не ступлю я ногой,

никогда я на поезд билет не куплю,

никогда не скажу тебе слово «люблю».

Ты сейчас от меня так далек, так далек –
никакой самолет долететь бы не мог.

Ожидание

Непреодолимый холод...
Кажется,дохнешь – и пар!
Ты глазами только молод,
сердцем ты, наверно, стар.

Ты давно живешь в покое...
Что ж, и это благодать!
Ты не помнишь, что такое,
что такое значит
ждать!

Как сидеть, сцепивши руки,
боль стараясь побороть...
Ты забыл уже, как звуки
могут жечься и колоть...

Звон дверных стеклянных створок,
чей-то близящийся шаг,
каждый шелест, каждый шорох
громом рушится в ушах!

Ждешь – и ни конца, ни края
дню пустому не видать...
Пусть не я,
пускай другая

так тебя заставит ждать!

«Биенье сердца моего...»

Биенье сердца моего,
тепло доверчивого тела...
Как мало взял ты из того,
что я отдать тебе хотела.
А есть тоска, как мед сладка,
и вянущих черемух горечь,
и ликование птичьих сборищ,
и тающие облака...
Есть шорох трав неутомимый
и говор гальки у реки,
картавый,
не переводимый
ни на какие языки.
Есть медный медленный закат
и светлый ливень листопада...

Как ты, наверное, богат,
что ничего тебе не надо!

Ссора

Вечер июльский томительно долог,
медленно с крыши сползает закат...

Правду сказать –
как в любой из размолвок,
я виновата,
и ты виноват.

Самое злое друг другу сказали,
все, что придумать в сердцах довелось,
и в заключение себя наказали:
в комнатах душных заперлись врозь.

Знаю, глядишь ты печально и строго
на проплывающие облака...
А вечеров-то не так уже много,
жизнь-то совсем уж не так велика!

Любят друг друга, пожалуй, не часто
так, как смогли мы с тобой полюбить...
Это, наверно, излишек богатства
нас отучил бережливыми быть!

Я признаю самолюбье мужское.
Я посягать на него не хочу.

Милый! Какая луна над Москвою...

Милый, открой, –

я в окно постучу.

Прощанье

Чемодан с дорожными вещами,
скудость слов, немая просьба рук...
Самое обычное прощанье,
самая простая из разлук.

На вокзалах плачут и смеются,
и клянутся в дружбе и любви...
Вот и ты, стараясь улыбнуться,
говоришь:
– Смотри не разлюби!

Ну к чему, скажи, тревоги эти?
Для чего таким печальным быть?
Разве можно позабыть о свете
или, скажем, воздух разлюбить?

У тебя глаза совсем больные.
Улыбнись. Не надо так, родной...
Мне ведь тоже в ночи ледяные
нестерпимо холодно одной.

Шум, свистки, последние объятья,
дрогнули сцепленья, зазвения...
До свиданья! Буду очень ждать я!
Только ты...

не разлюби меня.

Осень

Как желтые звезды, срываются листья
и гаснут на черной земле...

А небо все ниже,
а вечер все мгlistей,
заря – будто уголь в золе.

Вот первый огонь засветился во мраке,
грачи на березах кричат...
Далеко за речкою лают собаки
и слышатся песни девчат.

Гуляет, поет молодое веселье,
вздыхает влюбленный баян...
А из лесу сыростью тянет и прелью,
ползет по лощине туман...

И кажется мне, что над Соротью где-то,
в холодном белесом дыму,
такая же ночь приходила к поэту
и спать не давала ему.

«Не отрекаются любя...»

Не отрекаются любя.
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
а ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
когда в стекло ударит вьюга,
когда припомнишь, как давно
не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
не полюбившейся когда-то,
что переждать не сможешь ты
трех человек у автомата.
И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что там.
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам...
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно все отдать,
и до того я в это верю,
что трудно мне тебя не ждать,
весь день не отходя от двери.

«Мы шли пустынной улицей вдвоем...»

Мы шли пустынной улицей вдвоем
в рассветный час, распутицу кляня.
И, как всегда, под самым фонарем
ты вдруг решил поцеловать меня.

А нам с тобой навстречу в этот миг
веселые студенты, как на грех...
Мы очень, видно, рассмешили их –
так дружно грянул нам вдогонку смех.

Их разговор примерно был таков:
– Видали вы подобных чудаков?
– И впрямь чудак, ведь он не молод... – Да,
но и она совсем не молода!

Ты сердисься за дерзкие слова?
Но что же делать – молодежь права.
Попробуй на меня когда-нибудь
пристрастным взглядом юности взглянуть.

Давай простим их неуместный смех:
ну где ж им знать, что мы счастливей всех?
Ведь им прожить придется столько лет,

пока поймут, что старости-то нет!

У источника

Тягучий жар на землю льется,
томят извилины пути...
К артезианскому колодцу
бежит ребенок лет шести.

На цыпочки на камне белом
приподымаясь на краю,
губами ловит неумело
тугую, круглую струю.

Она дугой взлетает звонко,
спеша в орешник молодой,
и пересохший рот ребенка
едва целуется с водой.

И у меня судьба такая,
и я к источнику бегу.
Мне счастье бьет в лицо, сверкая,
а я напиться не могу!

Зеркало

Все приняло в оправе круглой
нелицемерное стекло:
ресницы, слепленные вьюгой,
волос намокшее крыло,
прозрачное свечение кожи,
лица изменчивый овал,
глаза счастливые... Все то же,
что только что
ты целовал.

И с жадностью неутолимой,
признательности не тая,
любуюсь я твоей любимой...
И странно мне,
что это... я.

«Дремлет стужа, сок из веток выжав...»

Дремлет стужа, сок из веток выжав,
в чашах спят, умаявшись, ветра.
Хочешь, завтра в лес пойдём на лыжах?
Хочешь, выйдем из дому с утра,
в час, когда ещё нельзя взглянуться
в нерассветший дымчатый простор?..
Мы заглянем по дороге в детство,
на опушке разведём костер,
станем греться рядом, на снегу...
Ты не говори мне:
«Не могу».
Ты не вздумай намекать на старость –
слова нет такого в словаре...
Если вправду мало жить осталось,
надо выйти раньше...
На заре...

Счастье

К ночи грязь на дорогах звонка и тверда.

Небо – сине-зеленое, точно вода.

В небе плавает месяц, подобно блесне...

Я давно не писала стихов о весне.

Не писала стихов о тебе, о себе,
о такой удивительной нашей судьбе.

Люди в юные годы, в такие вот дни,
друг без друга не в силах остаться одни.

Им сердца в одиночестве

мучает грусть...

Оглянусь я на прошлое – и улыбнусь:

тишина в подмосковном ночном городке,

и совсем я одна, от тебя вдалеке,

только в сердце моем столько света сейчас,

столько сказанных, столько несказанных фраз,

столько радости прошлых и будущих лет,

что для грусти в нем попросту площади нет.

Слишком корни у счастья теперь глубоки,

чтоб апрельские гнули его ветерки!

Опоздали на дачный

Опоздали на дачный...
Ну что же такого?
Я до ночи с тобой
дождаться готова.
Ты сидишь на скамейке,
унылый и злой.
От тебя не дожидаться
улыбки былой.
Хоть бы вымолвил слово,
погладил бы руку...
До чего же ты скоро
к покою привык!
Разве ты позабыл,
что такое разлука?
Как он краток,
прощанья безжалостный миг?
Ну, попробуй, представь:
расстаемся с тобою.
Вместе быть нам отпущено
час или два.
На меня ты глядел бы
с какою любовью, для меня
ты нашел бы
какие слова!
Опоздали на дачный...

Ну что же такого?
Даже рада, пожалуй, я,
честное слово!
На пустынной платформе,
на жесткой скамье
этим вечером
столько припомнилось мне...
Заметенные шпалы,
окошки во льду...
Шел в Ташкент эшелон
в сорок первом году.
Шел туда,
где за вьюгой светал горизонт...
А другой эшелон
отправлялся на фронт.
Время грозных разлук...
Вот когда,
вот когда
расставанье хотелось продлить
на года.
Это с нами ведь было,
мой друг дорогой!
Я ж теперь не другая
и ты не другой.
Кинь скорее оттуда,
из прошлого,
взгляд, —
двое дачников
поезда ждать не хотят!

Ночь

Как душно и тесно в вагонном плену!
Но я духоты, тесноты не кляню...
Срываются версты,
качаются звезды,
играет, гуляет гармошка в Клину.
Кивает огнями далекий уют,
кузнечики в поле спросонья куют,
ночная прохлада,
чужая отрада.
Нам здесь оставаться пятнадцать минут.

Нам колокол дважды прикажет:
«Пора!»
И лязгнут сомкнувшиеся буфера,
очнется граненый стакан в подстаканнике,
со звоном отчаянным затрепыхав,
кусты врассыпную шарахнутся в панике,
с обрывками пара на тонких руках...
И свист рассечет их ударом ножа,
а ветер закружит и бросит в пространство,
и примутся стекла – пример постоянства –
в расшатанных рамах плясать, дребезжа.

Мой спутник молчит,
с головою укрыт,

наверное, спит,
а может, не спит,
а может, как я с духотой не в ладах,
томится, с бессонницей не совладав.

Какое мне дело!

Мне знать ни к чему...

Своей я тревоги никак не уйму.

Что там за окошком:

платформы ли, дамбы ли,

мосты ли кидаются в дымную мглу?

В холодном, продутом, грохочущем тамбуре
я лбом прислонюсь к ледяному стеклу.

Летят закругленья,

вагоны креня,

ночные селенья,

нигде ни огня,

ночные просторы,

нигде ни огня...

Как встретит твой город
назавтра меня?

Печаль или радость?

Любовь или ложь?

А вдруг не захочешь?

А вдруг не придешь?

А вдруг это просто придумано мной?

...В болотцах рассвет голубой пеленой...

Пусть мысли, как версты, уносятся прочь,
ведь что б ни случилось, теперь не помочь.
О, только бы, только бы, только бы длилась
вот эта на счастье похожая ночь!

«А ведь могло бы случиться так...»

А ведь могло бы случиться так,
что оба,
друг другу предназначены судьбой,
мы жизнь бок о бок
прожили б до гроба
и никогда не встретились с тобой.
В троллейбусе порой сидели б рядом,
в киоске покупали бы цветы,
едва заметив мимолетным взглядом
единственно любимые черты.
Чуть тяготясь весенними ночами,
слегка грустя о чем-то при луне,
мы честно бы знакомым отвечали,
что да,
мы в жизни счастливы вполне.
От многих я слыхала речи эти,
сама так отвечала, не таю,
пока любовь не встретила на свете
единственно возможную –
твою!
Улыбка, что ли, сделалась иною,
или в глазах прибавилось огня,
но только –
счастлива ли я с тобою? –
с тех пор никто не спрашивал меня.

«Пусть мне оправдываться нечем...»

Пусть мне оправдываться нечем,
пусть спорны доводы мои, —
предпочитаю красноречью
косноязычие любви.

Когда волненью воплотиться
в звучанье речи не дано,
когда сто слов в душе родится
и не годится
ни одно!

Когда молчание не робость,
но ощущение того,
какая отделяет пропасть
слова от сердца твоего.

О сердце, склонное к порывам,
пусть будет мужеством твоим
в поступках быть красноречивым,
а в обожании — немым.

И что бы мне ни возразили,
я снова это повторю.
...Прости меня,
моя Россия,
что о любви

не говорю.

Дом в лесу

Стены старые из бревен,
в смоляных густых слезах.
Словно плюш потертый, темен
мох, прижившийся в пазах.
Лес вплотную у окошек,
листьев смутный разговор,
возле лампы тучи мошек,
комаров жестокий хор.
Да картошка без приправы,
испеченная в золе,
да грачиный ор картавый
в черных гнездах, на заре.
Первый взгляд – смущенный, милый,
первой нежности тоска...
Помнишь, школьница гостила
в тихом доме лесника?
Щеки нам огонь горячий
заливал порой до глаз.
Твой отец, улыбку пряча,
избегал смотреть на нас.
Было так... Давно когда-то...

Это все напомнил мне
свет вишневого заката
на бревенчатой стене,

мошкaры вeчepний тaнeц,
зaпax сeнa из сeнeй
и пpeдaтeльcкий румянец
ceмиклacсницы мoей.
Пoмнишь – лeтo, двa пoдрocткa,
лec, oвpaги дa xолмы...
Пoмнишь дoм у пepекрeсткa,
гдe пpoстились c дeтcтвoм мы.

Твоя улица

Мне каждый кустик мил на ней
и каждый камень...

А бывало,
я шла по улице твоей
и ничего не замечала.

Был сад как сад
и дом как дом,
а ты входил в его ворота,
обедал, спал, работал в нем,
кого-то ждал,
любил кого-то.

Да что лукавить!

Это я
тогда тебе ночами снилась.
Ты «фотокором» снял меня,
и я в столе твоём хранилась.
Ты мне натачивал коньки,
чинил ремни, забыв усталость,
все это смыслу вопреки:

я на коньках
с другим каталась.

С другим я шла на школьный бал,
сидела на футбольном матче,
а ты вздыхал, и ревновал,
и молча мне решал задачи.

А если в дождь являлась я,
ворчал, встречая на крылечке:
– С ума сошла! Промокла вся! –
и башмаки сушил на печке.

А наступал зеленый май,
ты, грустных глаз не поднимая,
мне сухо говорил:

– Давай

сирени, что ли, наломаю. –

И мне огромный сноп вручал,
тугой, благоуханный, мокрый...

И улыбался.

И молчал,

опасливо косясь на окна...

...

Был сад как сад

и дом как дом...

Крыльцо... Над крышею антенна...

Да, жаль, мы поздно узнаем
любви действительную цену.

Навряд ли кто любил меня
так бескорыстно,

так отважно...

Стоит, ступеньки накрены,

домишко твой

одноэтажный.

На днях его должны снести –

здесь будет здание вокзала.

Послушай,

ты меня прости!

Ах, если б юность больше знала!

А, впрочем,

если бы и знать

и если б жить начать

опять,

все повторилось бы

сначала!

Непогода

Нас дождь поливал
трое суток.
Три дня штурмовала гроза.
От молний ежеминутных
ломить начинало глаза.
Пока продолжалась осада,
мы съели пуды алычи.
За нами вдогонку из сада,
как змеи, вползали ручьи.
А тучи шли тихо, вразвалку,
и не было тучам конца...
Промокшая, злая чекалка
визжала всю ночь у крыльца.
Опавшие листья сметая,
кружились потоки, ворча,
лимонная и золотая
купалась в дожде алыча.
И, превознося непогоду,
от зноя живая едва,
глотала небесную воду
привычная к жажде трава.
Вот так мы и жили без дела
на мокрой, веселой земле,
а море свирепо гудело
и белым дымилось во мгле.

Домишко стоял у обрыва,
где грохот наката лютей,
и жило в нем двое счастливых
и двое несчастных
людей.

Ты мне в бесконечные ночи
с улыбкою (благо темно!)
твердил, что, конечно, на почте
лежит телеграмма давно.
Что письма затеряны, видно,
твердил, почтальонов вина.
И было мне горько и стыдно,
что ты утешаешь меня.
И я понимала отлично,
что четко работает связь,
что письма вручаются лично,
открытки не могут пропасть...

Однажды, дождавшись рассвета,
с последней надеждой скупой
ушла я месить километры
лиловой размякшей тропой.
Ушла я вдогонку за счастьем,
за дальней, неверной судьбой...
А счастье-то было ненастьем,
тревогой,
прибоем,
тобой.

Молния

На пасмурном бланке короткие строчки:
«Не жди. Не приеду. Целую. Тоскую».
Печатные буквы, кавычки да точки –
не сразу признаешь в них руку мужскую.

Обычно от молнии хочется скрыться,
бывает, она убивает и ранит...
Но это не молния – просто зарница.
За такой молнией грома не грянет.

«Не жди. Не приеду»...
Какое мне дело!
«Целую. Тоскую»...
Какое мне горе!
И впрямь, вероятно, гроза отгремела,
ушла стороною за синее море.

Воспоминание

Мне жаль голубого приморского дня
с персидской сиренью, горячей и пряной,
с бушующим солнцем,
соленой моряной;
мне жаль этой встречи, короткой и странной,
когда ты подумал, что любишь меня.
Дымясь и блеща, закипали буруны,
чернели на рейде тела кораблей...
За нами пришла краснокрылая шхуна,
но мы не рискнули довериться ей.
Кричала сирена в порту, как тревога,
и стонущий голос по ветру несло...
Цыганка сказала: – Печаль и дорога... –
Такое у них, у цыган, ремесло.
Цыганка лукавая и молодая
взяла твою руку:
– А ну, погадаю! –
Но ты побоялся ее ворожбы,
ты думал, что можно уйти от судьбы!
Попробуй уйди...
Полустанок осенний,
печаль и смятение последних минут...
Ни просьбы, ни слезы, ни ложь во спасенье
уже ни тебя, ни меня не спасут.

Но даже теперь, на таком расстоянии,
случается вдруг, и тебя и меня
в летящих ночах настигает сиянье
того голубого, приморского дня.

«Открываю томик одинокий...»

Открываю томик одинокий –
томик в переплете полинялом.
Человек писал вот эти строки.
Я не знаю, для кого писал он.

Пусть он думал и любил иначе,
и в столетьях мы не повстречались.
Если я от этих строчек плачу,
значит, мне они предназначались.

«К земле разрыхленной припал он...»

К земле разрыхленной припал он,
ловя подземный сладкий ток...

Еще довольствуется малым
прогрызший семечко росток.

А уж над ним с утра до ночи
и после, с ночи до утра,
дожди таинственно хлопчут,
колдуют птицы и ветра...

Он кверху тянется.

Нигде так

не виден неумный рост...

Он вымахнул до нижних веток
и хочет вырасти до звезд!

Он всех развесистей и выше
среди родных своих дубрав,
но что ни год – смирей и тише
его неукротимый нрав.

Еще он крепкий и красивый...

Звезда теперь совсем близка...

Но в нем уже иссякли силы
первоначального броска.

Так и застыл он на столетья
на прерванном своем пути,
и шумные лесные дети
спешат отца перерастить!

«Молодость... Старость...»

Молодость... Старость...

Привычно, знакомо.

А я бы делила жизнь

по-другому:

я на две бы части ее делила,

на то, что будет,

и то, что было.

Ведь жизнь измеряют –

знаете сами –

когда годами,

когда часами.

Знаете сами –

лет пять или десять

минуте случается перевесить.

Я не вздыхаю:

о, где ты, юность!

Не восклицаю:

ах, скоро старость!

Я жизни вопрос задаю, волнуясь:

что у тебя для меня осталось?

Припоминаю я все, что было,
жизнь пересматриваю сначала,
как беспощадно меня учила,
какие подарки порой вручала.

Знала я счастье,
не знала покоя,
знала страданья,
не знала скуки.

С детства открылось мне,
что такое
непоправимость вечной разлуки.

Руки мои красивыми были,
нежными были,
сильными стали.

Настежь я сердце свое раскрыла
людскому счастью,
людской печали.

Я улыбалась и плакала с ними,
стала мудрее
и непримиримей,
мягче я стала,
тверже я стала,
лгать и завидовать
перестала.

Молодость – сила.

Старость – усталость.

Думаю –
сила
в запасе
осталась!

Десятибалльный шторм на море

Его повсюду было слышно –
сплошной угрюмый гул валов...
Я в темноте на берег вышла,
ища защиты у стволов.

Столпотворенье звуков грозных
обрушилось навстречу мне.
Хватаясь ветками за воздух,
стонали сосны в вышине.

Кипело море в мути белой...
Гоня песчаную пургу,
бесился ветер оголтелый
на опустелом берегу.

Валил он туч свинцовых горы,
с натугой вламывался в лес
и каждого хватал за горло,
кто смел пойти наперерез.

Гудело море разъяренно,
возненавидя тишину,
когда оно плескалось сонно
у смирных дачников в плену.

И, прирученное, урчало,
песка вылизывая гладь,
и не спеша пловцов качало,
чтобы не слишком укачать,
и отдыхающим в угоду

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.